

КлассиК И юмор а

Теплые штаны
для вашей мамы



Дина Рубина

Дина Рубина

**Теплые штаны для
вашей мамы (сборник)**

«ЭКСМО»

2014

Рубина Д. И.

Теплые штаны для вашей мамы (сборник) / Д. И. Рубина —
«Эксмо», 2014

«Не люблю профессиональных остряков, эстрадные скетчи, заготовленные шутки и каламбуры... Никогда не помню анекдотов. Но меня неизменно восхищает «улыбка Бога», которой пронизана любая человеческая жизнь. Сколько порой юмора, остроты и сарказма в самой обычной повседневной ситуации; нужно только уметь все это разглядеть, выудить из котомки жизни и изобразить на бумаге. Ибо никакой юморист по изобретательности сюжета не может сравниться с самой жизнью. Именно она неизменно вызывает слезы, будто Создателю совершенно все равно, от чего человек плачет: от смеха или от горя. Ибо в любом случае разве для Него это не славное развлечение – вся наша жизнь?»

© Рубина Д. И., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Камера наезжает!..	6
Во вратах твоих	52
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Дина Рубина

Теплые штаны для вашей мамы (сборник)

© Рубина Д., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Камера наезжает!..

...Своего ангела-хранителя я представляю в образе лагерного охранника – плешивого, с мутными испитыми глазками, в толстых ватных штанах, пропахших табаком и дезинфекцией вокзальных туалетов.

Мой ангел-хранитель охраняет меня без особого рвения. По должности, согласно инструкции...

Признаться, не так много со мной возни у этой конвойной хари. Но при попытке к бегству из зоны, именуемой «жизнью», мой ангел-хранитель хватается за шиворот и тащит по жизненному этапу, выкручивая руки и давая пинков. И это лучшее, что он может сделать.

Придя в себя, я обнаруживаю, как правило, что пейзаж вокруг прекрасен, что мне еще нет двадцати, двадцати шести, тридцати и так далее.

Вот и сейчас я гляжу из своего окна на склон Масличной горы, неровно поросший очень старым садом и похожий на свалывшийся бок овцы, и думаю о том, что мне еще нет сорока и жизнь бесконечна...

* * *

А сейчас я расскажу, как озвучивают фильм.

Несколько кадров отснятого материала склеивают в кольцо и пускают на рабочий экран.

В небольшой студии сидят:

Режиссер, он же Творец, он же Соавтор; укладчица со студии Горького, приглашенная для немыслимого дела – при живом авторе сценария сочинять диалоги под немую артикуляцию актеров, не учивших ролей и потому на съемках моливших галиматью;

второй режиссер фильма – милейший человек, так и не удосужившийся прочесть сценарий, как-то руки не дошли;

оператор в белой майке с надписью по-английски: «Я устала от мужчин»;

художник фильма, если он не настолько пьян, чтобы валяться в номере гостиницы;

редактор фильма, в свое время уже изгадивший сценарий, а сейчас вставляющий идиотские замечания;

монтажер, пара славиков-ассистентов неопределенных занятий, крутившихся на съемках под ногами;

приблудный столичный актер, нагрянувший в провинцию – намолотить сотен пять;

прочие случайные лица...

Позади всех, бессловесный и подавленный, сидит автор сценария, написанного им по некогда написанной им же повести.

Он уже не пытается отождествить физиономию на экране с образом героя его произведения и только беззвучно твердит себе, что он не автор, а дерьмо собачье, тряпка, о которую все вытирают ноги, и что пора встать наконец и объявить, что он – он, Автор! – запрещает фильм своим Авторским Правом. И полюбоваться – как запляшет вся эта камарилья...

Но автор не встает и ничего не объявляет, потому что уже вступил в жилищный кооператив и через месяц должен вносить пай за трехкомнатную квартиру...

Так вот, не знаю почему, но лучше всего на беззвучную артикуляцию актера ложится русский мат. Любое матерное ругательство как влитое укладывается в немое движение губ. Это проверено практикой.

Вам подтвердит это любой знакомый киноактер.

Боюсь, читатель решит, что я пишу юмористический рассказ. А между тем я давно уже не способна на то веселое напряжение души, которое и есть чувство юмора и напоминает усилия гребца, идущего в канавке вверх по реке... В последние годы я все чаще отдаюсь течению жизни, я сушу весла и просто глазею по сторонам. Там, на берегах этой речки, все еще немало любопытного.

Собственно, для того чтобы рассказать, как озвучивают фильм, я должна рассказать сначала, как его снимают и даже – как пишут сценарий. Не потому, что это интересно или необходимо знать, а потому, что одно влечет за собой другое.

Пожалуй даже, я расскажу вообще все с самого начала.

* * *

У меня когда-то был приятель, милый порывистый мальчик, – он сочинял песни и исполнял их под гитару затаенно-мужественным баритоном.

Он и сегодня жив-здоров, но сейчас он адвокат, а это, согласитесь, уже совсем другой образ. Кроме того, он уехал в другую страну.

Вообще-то я тоже уехала в другую страну.

Откровенно говоря, мы с ним опять живем в одной стране, но это уже другая страна и другая жизнь. И он адвокат, солидный человек – чего, собственно, и добивалась его мама.

А тогда, лет пятнадцать назад, она добилась, чтобы сын поступил на юридический. Благословенно одаренный мальчик, он поступил, чтобы мать отстала, но продолжал сочинять стихи, писать на них музыку и исполнять эти песни под гитару на разных слетах и фестивалях в горах Чимгана. Все помнят это обаятельное время: возьмемся за руки, друзья.

Одну из песен он по дружбе посвятил мне. Начиналась она так – «Вот на дороге черный бык, и вот дорога на Мадрид. Как на дороге тяжело взлетает пыль из-под копыт» – и далее, со звоном витражей, с боем колоколов... чрезвычайно густо.

Я так подробно рассказываю, чтобы объяснить – что это был за мальчик, хотя в конечном итоге его мама оказалась права.

Когда он как-то неназужно защитил диплом юриста, продолжая петь, искриться и глубоко дышать разреженным воздухом фестивальных вершин, тут-то и выяснилось, что распределили его в одно из районных отделений милиции города Ташкента – в криминальном отношении не самого благополучного города на свете.

Тепло в Ташкенте, очень теплый климат. С февраля к нам сползлась уголовная шпана со всей простертой в холодах страны.

Так вот – Саша... Да, его звали Саша, впрочем, это неважно. С возрастом я устаю придумывать даже имена.

Он очнулся от песен следователем по уголовным делам отделения милиции, скажем, Кировского района города Ташкента: ночные дежурства с выездами на место происшествия, выстрелы, кровь на стенах, допросы, свидетельские показания, папки, скоросшиватели, вещественные доказательства, опознания личности убитой... – месяца на два он вовсе пропал из моей жизни.

Когда же появился вновь, я обнаружила гибрид бардовской песни с уголовной феней. В своем следовательском кейсе он таскал подсудимым в тюрягу «Беломор».

Как всякий артистически одаренный человек, он был отчаянным брехуном. Загадочный, зазывно-отталкивающий мир открывался в его историях: тюремная параша, увитая волшебным плющом романтики. Какие типы, какая речь, какие пронзительные детали!

Разумеется, я написала про все это повесть – я не могу не взять, когда плохо лежит. Правда, перед тем как схватить, я поинтересовалась, намерен ли он сам писать. Забирай, разрешил он великодушно, когда я еще соберусь! (И в самом деле – не собрался никогда.)

Несколько раз я ездила с ним в тюрьму на допросы – нюхнуть реалий. Кажется, он оформлял эти экскурсии как очные ставки...

Я уже не помню ничего из экзотических прогулок по зданию тюрьмы – любая экскурсия выветривается из памяти. Помню только во внутреннем дворе тюрьмы старую белую клячу, запряженную в телегу, на которой стояли две бочки с квашеной капустой, и – высокий сильный голос, вначале даже показавшийся мне женским, из зарешеченного окошка на третьем этаже:

Те-чет ре-еченька по песо-очечку,
Бережочки мо-оет,
Воровской парень, городской жулик
Начальника про-осит:

То ли акустика закрытого пространства сообщала этому голосу такую льющуюся силу, то ли и впрямь невидимый певец обладал незаурядными голосовыми связками, но только тронула меня в те мгновения эта песня, сентиментальная до слюнявости (как все почти блатные песни).

Ты начальничек, винтик-чайничек,
Отпусти до до-о-му...
Видно, скурвилась, видно, ссучилась
Милая зазно-оба...

Несколько минут, задрав головы, мы с Сашей слушали эту песню, удивительно кинематографически вмонтированную в кадр с грязным двором, с бочками воняющей прокисшей капусты, с розовым следственным корпусом, по крыше которого прогуливались жирные голуби.

– Сорокин тоскует, – проговорил мой приятель.
– А голос хорош! – заметила я.
Саша усмехнулся и сказал:
– Хорош. Убийство путевого обходчика при отягчающих обстоятельствах...

Короче, я написала повесть. Она получилась плохой – как это всегда у меня бывает, когда написанное не имеет к моей шкуре никакого отношения, – но, что называется, свежей. Друзья читали и говорили – не фонтан, старуха, но очень свежо!

В повести действовал следователь Саша (я и тогда поленилась придумать имя), порывистый мальчик с интеллигентной растерянной улыбкой; его друг и сослуживец, загнанный в любовный треугольник; еврейская мама распалась на бабушку и дедушку, папу я ликвидировала. Ну, и далее по маршруту со всеми остановками: любовь, смерть друга, забавные и острые диалоги с уголовниками, инфаркт деда... Словом, свежо.

Повесть была напечатана в популярном московском журнале, предварительно пройдя санобработку у двух редакторов, что не прибавило ей художественных достоинств, наоборот – придало необратимо послетифозный вид.

В те годы нельзя было писать о: наркоманах, венерических заболеваниях, проституции, взятках, о мордобоях в милиции и о чем-то еще, не помню, – что поначалу в повести было, а потом сплыло, ибо мое авторское легкомыслие в ту пору могло соперничать лишь с авторским же апломбом.

Нельзя было почему-то указывать местоположение тюрем, звания, в которых пребывали герои, и много чего еще. Для этого по редакции слонялась специальная «проверяльщица», так называлась эта должность, – тихая старуха проверяльщица, которая стерегла мое появление в редакции, зазывала меня в уголок и говорила заботливым голосом:

– У нас там накладка на шестьдесят четвертой странице... Там взяли фарцовщика с паке-
тиком анаши в носке на правой ноге. Это не пройдет...

– А на левой пройдет? – спрашивала я нервно.

– Ни на какой не пройдет, – добросовестно подумав, отвечала она и вдруг озарялась тихой вдохновенной улыбкой: – А знаете, не переписать ли нам этот эпизод вообще? Пусть он просто фарцует носками. Это пройдет.

...Словом, как раз тогда, когда повесть следовало отправить в корзину, она появилась на страницах журнала.

* * *

Недели через три мне позвонили.

– Лё-о, Анжелла Фаттахова, – проговорили в трубке домашним, на зевочке, голосом. – Мне запускаться надо, да... Аль-лё?

– Я вас слушаю.

– Я запускаюсь по плану... Роюсь тут в библиотеке, на студии... Ну и никто меня не удовлетворяет... – Она говорила странно мельтешащим говорком, рассеянно – не то сейчас проснулась, не то, сидя в компании, отвлеклась на чью-то реплику. – Лё-у?

– Я вас слушаю, – повторила я, стараясь придать голосу фундаментальную внятность, как бы намагничивая ее внимание, выравнивая его вдоль хода беседы. Так крепкими тычками подправляют внимание пьяного при выяснении его домашнего адреса.

– Ну, ты ведь мои фильмы знаешь?

Я запнулась – и от панибратского «ты», неожиданно подтвердившего образ пьяного, вспоминающего свой адрес, и оттого, что впервые слышала это имя. Впрочем, я никогда не была своим человеком на «Узбекфильме».

– Смотрю, журнальчик на диване валяется, мой ассистент читал... И фотка удачная – что за краля, думаю... Мне ж запускаться надо по плану, понимаешь, а никто не удовлетворяет... Симпатично пишешь... Как-то... свежо... Поговорим, а?

– Анжелка? – задумчиво переспросил знакомый поэт-сценарист. – Ну, как тебе сказать... Она не бездарна, нет... Глупа, конечно, как Али-баба и сорок разбойников, но... знаешь, у нее есть такой прием: камера наезжает... Наезжает, наезжает, и – глаза героя крупным планом... медленно взбухает в слезнике горячая капля, выползает и криво бежит по монгольской скуле. Штука беспроектная, в смысле воздействия на рядового зрителя, если умело наехать... Это все равно что на сирот-дебилов просить: только последняя сука не подаст...

Он подозвал официантку и заказал еще пива... Мы сидели на террасе недавно выстроенного кафе «Голубые купола». Это было странное сооружение, натужный плод современных архитектурных веяний с традиционно восточными элементами, например резьбой по ганчу. Венчали это ханское великолепие три и вправду голубых купола, глянцево блестящих под солнцем.

Мы тянули пиво из кружек, сверху поглядывая на мелкий прямоугольный водоем, вымощенный голубой керамической плиткой – будто в воду опрокинули ведро синьки. По углам водоема вяло плевались четыре фонтанчика.

Мой знакомый поэт писал сценарии мультфильмов по узбекским народным сказкам. Сказками, как известно, Восток исстари кишит, тут только успевай молотить. Он и молотил: даже будучи сильно пьющим человеком, мой знакомый так и не ухитрился ни разу пропиться до штанов. Окружающим это представлялось хоть и небольшим, хоть и бытовым, но все-таки чудом. Однако факт оставался фактом: человек пил на свои. То есть, в известном смысле, жил в соответствующем своему занятию сказочном пространстве...

– К тому же она – фигура номенклатурная, единственная женщина-режиссер-узбечка. Правда, она татарка... Ты, может, видела ее ленту – «Можжевельник цветет в горах»?

– А он разве цветет? – неуверенно спросила я.

– А тебя это гребет? – уверенно спросил он. – Так вот, там часа полтора героиня мудохается по горам с каким-то пасечником. Пчелки, птички, собачка вислоухая, цветочки раскрываются на замедленной съемке и прочий слюнявый бред... И камера наезжает, наезжает... Глаза героини крупным планом, выкатывается невинная подростковая слеза... Что ты думаешь – поощрительный приз на Всесоюзном фестивале! Я ж тебе говорю: на сирот-дебилов только последняя сука не подаст...

Он заказал себе еще пива, и я, опасаясь, что минут через двадцать он станет совсем непригоден к разговору на практические темы, поспешила спросить о главном:

– А сколько платят за сценарий?

– Зависит от категории фильма. Штук шесть...

– Ско-олько?

– Да-да, – кивнул он с выражением скромного удовольствия, – «из всех искусств для нас важнейшим...»

Кстати, тебе известен контекст этой знаменитой ленинской директивы? «Поскольку мы народ по преимуществу неграмотный, из всех искусств...» и далее по тексту...

Так что дерзай. Заработаешь, купишь квартиру, выберешься из своей собачьей конуры, пригласишь меня на новоселье, и – чем черт не шутит, – может, я и трахну тебя от щедрот душевных.

По этой фразе я поняла, что мой знакомый поэт изрядно уже набрался: обычно с женщинами он держался корректно и даже скованно.

Но что касается квартирного вопроса, тут он попал в самую болезненную точку. Всю жизнь я жила в стесненных жилищных обстоятельствах. В детстве спала на раскладушке в мастерской отца, среди расставленных повсюду холстов.

Один из кошмаров моего детства: по ночам на меня частенько падал заказанный отцу очередным совхозом портрет Карла Маркса, неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой.

Консультацию по вопросам кинематографии можно было считать исчерпанной. Но в тот момент, когда я решила проститься, мой знакомый поэт-сценарист сказал:

– Да, вот еще: будь готова к тому, что Анжелка грабанет половину гонорара.

– В каком смысле? – удивилась я.

– В соавторы воткнется.

Тут я удивилась еще больше. И не то чтобы мне в то время совсем было мало лет, но специальность преподавателя музыки, полученная после окончания консерватории, в те годы еще оберегала мое литературное целомудрие.

– Глупости! – сказала я решительно. – Повесть написана и опубликована, сценарий я сбациаю в соответствии...

– Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел... – забормотал мой знакомый, – и от тебя, лиса...

Он поднял на меня глаза, по цвету они удивительно сочетались с пивом в кружке. Ясно было, что он останется сидеть тут до закрытия.

Я преувеличенно дружелюбно попрощалась. Я всегда преувеличенно дружелюбно разговариваю с пьяными, тем самым предупреждая и заранее лишая основания классический вопрос русского поэта-пьяницы.

Впрочем, как и большинство русских поэтов-пьяниц, мой знакомый был евреем.

* * *

Свераясь с записанным адресом, я поднялась в лифте на пятый этаж огромного узбек-фильмовского дома и, побродив по опоясывающей его внешней галерее, отыскала нужную квартиру.

За дверью кричали. Надрывно, нагло и одновременно беспомощно.

– Совсем офуела, совсем?!! – орал молодой, срывающийся голос. – Сказал – поеду, значит – поеду!! Да пошла ты!!.

Я еще раз сверила номер на двери с записанным на бумажке и поняла, что надо уходить. Представить себе в ближайшую неделю какой-то разговор об искусстве за этой дверью я не могла.

В эту самую минуту дверь изнутри рванули и – я успела отскочить в сторону – мимо меня, скалясь, пронесся мальчик лет девятнадцати и побежал по галерее к лестнице, на ходу подпрыгивая и лягая стены, как на тренировках в студии каратэ.

– Маратик, Маратик!! Свола-ачь!! – крикнули из глубины квартиры. Оттуда на галерею выскочила маленькая грациозная женщина в джинсах, из тех, кого называют «огонь-девка», годам этак к пятидесяти. Перегнувшись через перила, она крикнула во двор:

– Маратик, попробуй только взять машину, мало бился, сука?! – И, взглядываясь в спину удаляющегося по двору молодого человека, сказала: – А ты входи, входи... Чего ты такая... скованная?

Так началась эта киноэпопея...

Я и раньше подозревала, что в текущем кинематографе не боги горшки обжигают. Но чтоб настолько – не боги и до такой степени – горшки?..

Раз в два-три дня я появлялась у Анжеллы, «работать над сценарием». То есть я зачитывала ей то, что написала за это время. Из архива киностудии Анжелла приволокла два литературных сценария, по которым я должна была насобачиться в этом деле: «Али-баба и сорок разбойников» и «Хамза» – об основоположнике советской узбекской культуры Хамзе Хакимзаде Ниязи. Собственно, это был один длинный, тягучий эпос, в котором фигурировали симпатичные, худые, честные бедняки; алчные, жирные баи; жестокие разбойники; трепетные, как лань, девушки в паранджах и шальварах; а также ослы, скакуны, вязанки дров и полосатые узбекские халаты.

Песни были разные – впоследствии, в фильмах. В сценариях же тексты песен не указывались, писалось только в скобках: «звучит волнующая мелодия» или «на фоне тревожной музыки». Если не ошибаюсь, главные роли в обоих фильмах играл один и тот же известный

узбекский актер. Так что образы Али-бабы и основоположника узбекской советской культуры невольно слились у меня в немолодого одутловатого выпивоху в лаковых туфлях.

Анжелла оказалась человеком в высшей степени прямым, то есть принадлежала к тому именно типу людей, который я ненавижу всеми силами души.

Этот тип людей сопровождает меня вдоль всей моей жизни. Я говорю – вдоль, потому что с детства стараюсь не пересекаться с этими людьми. Подсознательно (а сейчас уже совершенно сознательно) я уходила и ухожу от малейшего соприкосновения с ними.

Я определяю их с полуфразы по интонации, по манере грубо вламываться в область неназываемого – на которую имеет право только настоящая литература и интимнейший шепот возлюбленных, – бодро называя в ней все, и все – невпопад. Поскольку по роду занятий всю жизнь я раскладываю этот словесный пасьянс, кружу вокруг оттенка чувства, подбирая мерцающие чешуйки звуков, сдуваю радужную влагу, струящуюся по сфере мыльного пузыря, выкладываю мозаику из цветных камушков, поскольку всю жизнь я занимаюсь проклятым и сладостным этим ремеслом, то в людях типа Анжеллы я чувствую конкурентов, нахрапистых и бездарных.

Был у нее один тяжелейший порок, за который, по моему выстраданному убеждению, следует удалять особь из общества, как овцу выбраковывают из стада: она говорила то, что думала, причем без малейшей разделительной паузы между двумя этими, столь разными, функциями мозга.

Сказанув, обычно приходила от произнесенного в восторг и изумление.

В этой огромной пятикомнатной квартире они жили втроем. И если мать с сыном связывали на редкость тугие, перекрученные, намертво завязанные узлами колючей проволоки отношения, то отец, на взгляд постороннего, казался настолько случайным человеком в доме, что впервые попавшие сюда люди принимали его за такого же гостя.

Сейчас, как ни силюсь, не могу припомнить – был ли в этих хоромаш у него угол. Между тем прекрасно помню «кабинет» Анжеллы, комнату Маратика, всю обклеенную фотообоями: джунгли, обезьяны, застывшие на пальмах с кокосовым орехом в лапах, серебряные водопады, оцепеневшие на стенах. Поверх этого африканского великолепия наклеены были метровые фотографии каких-то знаменитых каратистов, схваченных фотокамерой в мгновение прыжка, с летящей железномускульной ногой, рассекающей воздух, как весло – воду.

А вот комнату Мирзы, Мирзы Адыловича, профессора, талантливого, как говорили, ученого, – не помню, хоть убей.

Правда, в спальне стояла громадная, как палуба катера, супружеская кровать, но боюсь – хоть и не мое это дело, – профессору и там негде было голову приклонить. Впрочем, на то была причина – о, отнюдь не амурного свойства. Скорее наоборот.

Впервые я увидела Мирзу в тот день, когда пришла читать Анжелле начальные страницы сценария. Часам к пяти в дверь позвонили тремя короткими вопрошающими звонками. Анжелла пошла открывать и спустя минуту появилась с высоким, очень худым, неуловимо элегантным человеком лет пятидесяти. Он напоминал какого-то известного индийского киноактера – худощавым смуглым лицом, на котором неуместными и неожиданными казались полные, женственного рисунка губы.

– Это Мирза, – сказала Анжелла, интонационно отсекая от нас двоих присутствие этого человека. – Ну, читай дальше.

– Очень приятно, – сказал Мирза, протягивая мне странно горячую, точно температурную руку. – Творите, значит? Ну, творите, творите...

Я вдруг ощутила запах спиртного, перебитый запахом ароматизированной жвачки, которую он как-то слишком оживленно для своего почтенного возраста жевал.

– Не мешай нам! – крикнула Анжелла. – Пошуруй в холодильнике насчет ужина.

– Сию минутку! – с готовностью, возбужденно-весело отозвался Мирза. – Сей момент!

Словом, он был основательно пьян. И, судя по всему, не слишком удивил этим Анжеллу. Тогда я поняла – кто он.

И правда, очень быстро он приготовил ужин, и, когда позвал нас на лоджию есть – там стоял большой обеденный стол, – оказалось, что все уже накрыто, и умело, даже изысканно – с салфетками, приборами, соусами в невиданных мною номенклатурных баночках.

Когда мы пообедали и вернулись в гостиную, Мирза, надев фартук, стал мыть посуду, хотя, на мой взгляд, ему бы следовало принять горячий душ и идти спать. Но он не ушел спать, а все возился на кухне, гремел кастрюлями. И хотя он находился в собственном доме, меня не покидало ощущение, что этому, почему-то с первой минуты безотчетно симпатичному мне, человеку некуда идти.

Час спустя явился Маратик, отец и его стал кормить. Я слышала доносящиеся из кухни голоса. Рывкающий – Маратика и мягкий, виновато-веселый голос отца.

– Опять?! Опять накиррылся? Как свинья!

И в ответ – невнятное бормотание.

– Дать?! – угрожающе спросил сын. – Дать, я спрашиваю?! Допросишься!..

Помнится, на этом вот эпизоде я попрощалась и ушла.

* * *

Литературный сценарий катился к финалу легко и местами даже вдохновенно.

Я отсекала все пейзажи, а вместо описаний душевного состояния героев писала в скобках – «на фоне тревожной музыки».

За большую взятку – кажется, рублей в шестьсот – мама воткнула меня в жилищный кооператив, в очередь на двухкомнатную квартиру, и мы ходили «смотреть место», где по плану должен был строиться «мой» дом.

В течение года, пока писался сценарий, снимался и озвучивался фильм, место будущего строительства несколько раз менялось, а мы с мамой и сыном все ходили и ходили «смотреть» разные пустыри с помойками.

– Место удачное, – веско говорила мама, – видишь, остановка близко, школа недалеко и тринадцатым полчаса до Алайского рынка.

Мама с неослабевающим энтузиазмом одобряла все пустыри и помойки, и действительно – у каждого было какое-нибудь свое достоинство. Думаю, в глубине души маме необходимо было оправдать ту большую взятку, утвердить ее доброкачественность в высшем смысле, нарастить на нее некий духовный процент.

Когда дом уже построили и мы даже врезали в дверь моей квартиры новый замок, я вдруг уехала жить в Москву. Квартиру сдали в кооператив, взятка пропала. Мысль об этом просто убивала маму. Она часто вспоминала эту взятку, как старый нэпман – свою колбасную лавку, экспроприированную молодчиками в кожаных тужурках.

Потом я и вовсе уехала из России, что окончательно обесценило ту давнюю взятку за несбывшуюся квартиру, буквально превратило ее в ничто...

так орел, поднявшийся в небо, уменьшается до крошечной точки, а потом истаивает совсем. И хотя мама уехала вслед за мной и другие денежные купюры осеняют ее старость, нет-нет да вспоминает она ту упорхнувшую птицу. А учитывая, что, по всей вероятности, я когда-нибудь умру, – Боже мой, Боже, – какой грустной и бесполезной штукой представляются наши взятки, как денежные, так и все иные...

* * *

Сценарий продвигался к концу, и, по моим расчетам, должна была уже возникнуть где-то поблизости фигура Верноподданного Еврея. Я озиралась, вглядывалась в окружающих, тревожно прислушивалась к разговорам – нет, вокруг было спокойно и даже благостно.

Наконец я дописала последнюю сцену – сцену любви, конечно же; в скобках написала: «титры на фоне волнующей мелодии», и уже на следующее утро с выражением читала эту стряпню Анжелле. Иногда по ходу чтения она прерывала меня, как и положено соавтору и режиссеру.

– Видишь, морщины у меня вот здесь, под глазами? – спрашивала она вдруг, всматриваясь в зеркальце со свежим детским любопытством. – Знаешь почему? Я сплю лицом в подушку.

Я смиренно ждала, когда можно будет возобновить чтение.

– Ты никогда не спи лицом в подушку! – с горячим участием, даже как-то строго говорила она.

– Хорошо, – отвечала я покладисто. И продолжала читать. Выслушав последние страницы моего вдохновенного чтения, Анжелла отложила зеркальце и спустила ноги с тахты, что придало ей вид человека, готового к действию.

– Ну вот, – проговорила она удовлетворенно, – теперь можно все это показывать Фаньке. У меня неприятно подморозило живот, как это бывает в первой стадии отравления.

– Кто такая Фанька? – спросила я без выражения.

– Наша редактор. Баба тертая. Да не бойся, Фанька своя. Она хочет как лучше.

Я тяжело промолчала. Верноподданный Еврей всегда в моей жизни был «свой» и «хотел как лучше». Более того – В. Е., как правило, мне симпатизировал, а иной раз прямо-таки любил намекающей на кровную причастность подмигивающей любовью. Порой у меня с В. Е. происходили даже полуоткровенные объяснения – смотря какой калибр попадался, это зависело от должности, помноженной на степень творческой бесталанности...

Фанька, Фаня Моисеевна, оказалась величественной красавицей лет семидесяти с выпукло-перламутровыми циничными глазами. Такой я всегда представляла себе праматерь нашу Сарру. Говорила она хриплым баритоном и курила ментоловые сигареты.

– Ну что ж, неплохо... – затыкаясь и щелкая указательным пальцем по сигарете, сказала Фаня Моисеевна. – Эта любовная сценка в лифте, монолог этого мудачка-деда... неплохо...

На ее указательном пальце сидел массивный узбекский перстень с крупным рубином, схваченным по кругу золотыми зубчиками. Казалось, она и носит эту тяжесть, чтобы нагруженным пальцем сбивать с сигареты пепел.

– Неплохо, неплохо, – повторила она. – Только вот герой на «Узбекфильме» не должен быть евреем...

Это был абсолютно неожиданный для меня точный удар в тыл. Признаться, я возводила оборонные укрепления совсем по другим рубежам.

После секундного замешательства я спешно привела в движение некоторые лицевые мускулы, сооружая на лице выражение искреннего удивления, необходимое мне те несколько

мгновений, в течение которых следовало дать отпор этому умному, как выяснилось, и подлому экземпляру В. Е.

Так комдив отступает с остатками дивизии, сильно потрепанной внезапным ночным нападением врага...

Словом, я подняла брови и несколько мгновений держала их на некоторой изумленной высоте.

– С чего вы взяли, что он еврей? – дружелюбно спросила я наконец.

Любопытно, что мы с ней одинаково произносили это слово, это имя, это табу, – смягчая произнесение, приблизительно так – ивре... – словно это могло каким-то образом укрыть суть понятия, защитить, смягчить и даже слегка его ненавязчиво ассимилировать. (Так, бывает, звонят из больницы, сообщая матери, что ее попавший в автокатастрофу сын в тяжелом состоянии, в то время как сын, мертвец мертвого, уже минут десять как отправлен на каталке в морг.) – С чего вы взяли, что он ивре?... – спросила я, глядя в ее перламутровые глаза, пытаюсь взглядом зацепить на дне этих раковин некоего вязкого студенистого моллюска.

(О, скользкая душа Саддукея, древние темные счеты с иными из моего народа! В такие считанные мгновения в моей жизни я проникала в один из побочных смыслов понятия «гой» – слова, которому я до сих пор внутренне сопротивляюсь, хотя знаю уже, что ничего оскорбительного для других народов не заложено в нем изначально.

Анжелла сидела на краю тахты, на обочине моего сухого горячего взгляда, и **мешала**. Уведите чужого, уберите чужого – да не увидит он, как я убью своего – сам! Как я воткну ему в горло нож – и он знает за что! – собственной рукой. Закройте глаза чужому...)

– Еврей! – воскликнула Анжелла радостно, как ребенок, угадавший разгадку. Она произнесла это слово твердо и хрустко, как огурец откусывала: «яврей». – Ну конечно, яврей, то-то я чувствую – чего-то такое...

– Помилуйте, это прет из каждой фразы. – Фаня Моисеевна снисходительно и по-родственному улыбнулась мне. – Этот дедушка, эта бабушка... «Поку-ушай, поку-ушай»... – Последние слова она произнесла с типично национальной аффектацией, очень убедительно. Так, вероятно, говорила с ней в детстве ее бабушка, где-нибудь в местечке под Бобруйском. Моя бабушка говорила со мной точно с такой же интонацией. И это меня особенно взбесило. С памятью своей бабушки она вольна была вытворять все, что ей заблагорассудится...

– А вот мою бабушку оставьте в покое, – сказала я, спуская брови с вершин изумления.

– Напрасно вы обиделись! – приветливо воскликнула Фаня Моисеевна. – Мы почти ничего не тронем в сценарии. Надо только верно расставить национальные акценты.

– Фанька, молчи! – вскрикнула Анжелла в странном радостном возбуждении. – Я вижу теперь – что она хотела устроить из моего фильма! Она синагогу хотела устроить! Все яврей!!

Я молча завязала тесемочки на папке, поднялась из кресла и направилась к дверям.

Анжелла нагнала меня в прихожей и повисла на мне, хохоча. При этом изловчилась влить мне в шею мокрый и крепкий поцелуй, превративший мое благородное возмущение в пошлый фарс.

Много раз за все время создания... (нет, избегу, пожалуй, столь высокого слова) сварганивания фильма я вставала и уходила с твердым намерением оборвать этот фарс, и каждый раз до анекдота повторялась сцена бурного и страстного – с поцелуями взасос (моя бедная шея! выше Анжелла не доставала, была миниатюрна, как персидская княжна) – водворения меня в кинематографическое русло.

– Дура! – кричала она, облапив меня и ногами отпихивая куда-то в сторону балкона мои сандалии, которые я пыталась обуть с оскорбленным видом. – Дура, кончай выпендриваться! В комнате посмеивалась астматическим кашлем-смешком Фаня Моисеевна.

В конце концов я была пригнана в комнату и впихнута в кресло.

– Итак, надо подумать, как верно расставить национальные акценты, – затягиваясь сигаретой, серьезно продолжала Фаня Моисеевна.

– А че тут думать! – выпалила Анжелла. – Все узбеки, и тамон болды!

– Ну, Анжелла, вы как всегда – из одной крайности в другую, – мягко и укоризненно проговорила Фаня Моисеевна. – Не забудьте, что, кроме нашего Минкульта, есть еще Госкино... Образ Григория нужно оставить как образ русского друга.

– Так он же тоже яврей!

– Не преувеличивайте, – отмахнулась Фаня Моисеевна. – Его любовницу Лизу тоже оставим русской.

– Любовницу – да, – согласилась Анжелла сразу.

Фаня Моисеевна глубоко задумалась, сбивая указательным пальцем пепел с сигареты. Так глубокомысленно сидят над планом будущего сражения или над пасьянсом. Рубиновая горячая слезка посверкивала в перстне.

– Очень серьезно надо отнестись к уголовному миру сценария, – сказала она, – вот у вас вор есть, осетин, и бандит-кореец. Это никуда не годится.

– Почему? – спросила я уже даже с любопытством.

– Потому что крайне опасно задевать национальные чувства меньшинств.

– Я тоже отношусь к национальному меньшинству, – возразила я. – Тем не менее мои национальные чувства весь вечер вы не то что задеваете – вы лупите по ним кувалдой.

– Радость моя, какого черта? – интимно улыбнулась старуха. – Вы мне еще двадцать раз спасибо скажете, пока сценарий и фильм будут инстанции проходить... Нет, осетин у нас пройдет эпизодом в звании сержанта, а кореец будет просто милым соседом, тем, что, помните, здоровается по утрам с нашим дедушкой... Весь преступный мир мы поделим пополам, на узбеков и русских. Дадим одного еврея – подпольного цеховика, сочините смешной диалог для его допроса... Главного героя Сашу мы назовем... – Фаня Моисеевна затянулась сигаретой.

– А пусть его зовут Маратик! – воскликнула Анжелла с нежностью такой откровенной силы, какая была бы прилична лишь при обсуждении имени первенца в семье, тщетно ожидавшей младенца многие годы и наконец получившей его – недоношенного, голубенького, полуторакилограммового.

Тут я испугалась по-настоящему.

– Но послушайте, – начала я осторожно, – существует ведь еще правда жизни и правда искусства. Превращая семью главного героя в узбекскую, вы идете против реальности. В узбекских семьях принято почтительное отношение к старшим, а наш герой то и дело говорит дедушке: «Ты что, дед, спятил?!»

В эту минуту в комнату вошел Маратик – босой, в спортивных трусах «Адидас». Не здороваясь, развинченной походкой отдыхающего спортсмена он подошел к платяному шкафу и, распахнув дверцы, молча поигрывая молодыми мускулистыми ногами, стал громко стучать вешалками.

– Чистую рубашку я найду в доме, – проговорил он со сдержанной яростью, не обременяя фразы вопросительной интонацией.

– Рубашки все в грязном белье, Маратик... – заискивающим тоном ответила мать, – надень спортивную майку.

Он развернулся, несколько секунд с холодным интересом изучал нас троих, стопку листов на журнальном столике. У него было лицо молодого хана Кончака – по складу скорее казахское, чем узбекское, – красивое, но отмеченное лишь одним выражением: всеобъемлющего презрительного высокомерия.

– Ты, мать, что – совсем сбондила со своими сценариями? – наконец спросил он негромко.

– Анжелла, помните, – оживленно встряла Фаня Моисеевна, – когда Маратик был маленьким, он показывал пальчиком на мои глаза и говорил: «газки синьки, зеленьки», что означало «глазки синенькие, зелененькие»...

Маратик с жалостливой гримаской уставился на старуху, все еще держащую палец где-то у переносицы, и, собрав губы трубочкой, проговорил пискляво:

– Фанька! Молци!

Прикрыв глаза, она засмеялась коротким одышливым смешком.

Анжелла ушла искать по комнатам рубашку для Маратика, а мы с Фаней Моисеевной сидели и молчали.

Наконец она спросила:

– Вы какого года рождения?

– Какая разница? – раздраженно спросила я. – Понимаю, о чем вы. Да, я родилась в послесталинское время.

– Вот видите, – усмехнулась она, – а я родилась гораздо, гораздо раньше...

– А Торквемада еще раньше, – грубо сказала я.

Она отмахнулась, закуривая:

– Аи, бросьте, при чем здесь Торквемада...

– Послушайте, – спросила я хмуро, – у меня появились тяжкие опасения, что главную роль в фильме наша козочка захочет подарить своему хамёнку.

– Чш-ш-ш! – Фаня Моисеевна приложила к губам палец с перстнем и, скосив глаза на дверь, проговорила тихо и внятно: – Он, конечно, сукин сын... Но, между прочим, студент режиссерского факультета театрального института и очень способный мальчик.

– Хоть гений! Он абсолютно антипатичен. Вся эта довольно банальная история, – я шелкнула по папке, – держится на обаянии главного героя...

Фаня Моисеевна вздохнула и достала из пачки очередную ментоловую сигарету.

– Боюсь, тут мы с вами бессильны...

– Вы ошибаетесь! – проговорила я торжественно, поднимаясь из кресла.

Впоследствии обнаружилось, что Фаня Моисеевна не ошибалась никогда.

* * *

– Знаешь, где выделяют место под строительство нашего дома? – сдержанно ликуя, объявила мама. – Пустырь за вендиспансером. Место дивное! На углу квас продают!

– Хорошо, – сказала я устало.

– А что?! – вскинулась она, как будто я ей возражала. – Летом квас на углу – большое удобство!

– Как и вендиспансер, – добавила я.

– Что это за синяк у тебя на шее? – спросила она подозрительно, как в десятом классе.

– Ударилась, – ответила я, как в десятом классе.

Наутро я позвонила Анжелле и – так опытный звукооператор поддерживает на пульте звук на нужной высоте – ровным дружелюбным голосом сообщила ей, что, к сожалению, вслед-

ствие многих причин потеряла интерес к будущему фильму и с сегодняшнего дня намерена заняться кое-чем другим.

Она издала птичий клекот, но я повесила трубку и выдернула провод из розетки.

* * *

– Не думал, что ты такая торжественная дура, – сказал на это мой знакомый поэт-сценарист. Он был по-утреннему трезв и суров. Мы встретились случайно в гастрономе. – Кому ты сделала хуже? Маленькому сыну, у которого не будет теперь своей комнаты. И ради чего? Ради чистой совести? Не делай вид, что, кроме этого сценария, твою совесть не отягощают еще три тачки дерьма. Что заботит тебя, несчастная? Высокое имя литератора? Положили все на твоё высокое имя, как кладешь ты на имена других, – никто никому не интересен в этой сиротской жизни... Что хорошего еще сказать тебе, моя Медея? Могу поведать о многом. О том, например, что ни один уважающий себя человек и не пошел бы смотреть этот шедевр «Узбек-фильма». Поэтому на твою гордую позу Литератора и Личности только голуби какнут, и то – из жалости...

– Что же ты предлагаешь? – смущенно спросила я, мелко перебирая ногами в очереди к прилавку в молочном отделе.

– Я предлагаю немедленно пасть в ноги Анжелке, вылизать ее левый сапог, вымыть полы в ее квартире и без перерыва приступить к написанию режиссерского сценария.

– Как?! – удивилась я. – Разве режиссерский сценарий пишет не режиссер?!

Он сморщился, пережидая схватку изжоги.

– Ну ладно, мне – в винно-водочный, – сказал он наконец. – И вообще: не делай такого лица, будто вчера тебе наложили в карман... Это было не вчера.

Разумеется, левый сапог Анжеллы я вылизывать не стала, но, вернувшись из гастронома, вороватым движением, словно невзначай, подключила телефонный аппарат.

Он зазвонил через две минуты.

Это была Фаня Моисеевна. Обволакивая меня хрипловатым баритоном и через два слова на третье бесстыдно присобачивая суффикс «чк» к моему имени, она сообщила, что сценарий одобрен редколлегией и через неделю мы с Анжеллой можем получить аванс в кассе киностудии – двадцать пять процентов гонорара.

– А при чем тут Анжелла? – строптиво спросила я. Оказывается, впечатляющей лекции в гастрономе хватило мне ненадолго. – Сценарий написан мною от начала до конца, и вы это прекрасно знаете сами.

– Да черт возьми! – воскликнула Фаня Моисеевна, считая интонации приязни, как смахивают крошки со стола. – Кому это интересно? Расскажите это своим родственникам, и пусть они гордятся «нашей девочкой». Будьте же хоть немного умнее! Сценарий пойдет дальше – в Комитет по делам кинематографии, сначала республиканский, потом всесоюзный.

– Ну и что? – упрямо спросила я.

– А то, что Анжелла – первая женщина-режиссер-узбечка! – Слышно было, как она щелкнула зажигалкой, закуривая. – Правда, она татарка... Надеюсь, вы понимаете, чья фамилия должна предварять сценарий?

– Анжеллина? – тупо спросила я.

– Ну не ваша же! – с усталой досадой проговорила старуха.

* * *

С твердой хозяйственной сумкой производства Янгиюльской кожгалантерейной фабрики мы с мамой шли получать гонорар в кассе киностудии.

В сумке лежали: старые газеты «Комсомолец Узбекистана», кухонное полотенце и буханка хлеба.

– Сумму заворачиваем в носовой платок, – говорила мама тихо, с конспиративным напором, оглядываясь поминутно как бы на возможных преследователей. Так старательно и серьезно студенты актерского факультета отрабатывают этюд на тему «погоня». – Сумму в платок, потом в полотенце, кладем на дно, сверху придавливаем буханкой...

То, что деньги мама называла «суммой», тоже являлось деталью торжественного действия, в которое моя артистичная мать любовно наряжала обыденность нашей жизни. Я никогда ей в этом не мешала, понимая, что каждый имеет право наряжать жизнь по своему вкусу.

В одном из тесных коридоров «Узбекфильма» уже стояла маленькая плотная, словно литая, очередь к окошку кассы. Крайней оказалась Анжелла.

– Ну, прочухалась? – громко и дружелюбно проговорила она. – Башли-то получать охота?

Движением кисти она метнула паспорт на широкий облупленный подоконник кассы – так старый картежник сдает колоду. Расписалась в выдвинутой углом из окна ведомости и приняла от кассирши пачку сотенных.

– Вот так-то, лапа, – нежно-покровительственно проговорила она, уступая мне место у окошка. – Когда-нибудь и я тебе что-то хорошее сделаю.

Эта древняя простота грабежа изумила меня, лишила дара речи, свела скулы дикой кислотиной.

Машинально я расписалась в ведомости, машинально, с извиняющимся лицом – не в силах побороть смутного чувства незаслуженности огромных денег, доставшихся, как говаривала моя бабушка, «на дурнычку», – оставила кассирше на подоконнике двадцать рублей, хвостик гонорара.

Всегда оставляя что-то кассиру, учил меня мой папа, человек тоже не дельной профессии, художник (о, бесполезность всей моей породы!), рука дающего не оскудеет...

Я отдала деньги маме, стерегущей меня в двух шагах от кассы. С тем же торжественно-деятельным лицом, прижимая к сердцу хозяйственную сумку, она стала спрашивать каких-то молодых актрис, где тут туалет, всем видом намекая, что туалет ей нужен не за естественной надобностью, а для дела конспиративной важности. В другое время я покорно поплелась бы за ней в туалет, следуя своим правилам – не мешать никому обряжать жизнь в театральные одежды, и топталась бы рядом, пока она заворачивает эти деньги в платок и придавливает их буханкой хлеба... но скулы мои все еще были сведены отвратительной кислотиной от дружелюбного насилия, и я сказала:

– Оставь, ради бога. – И пошла к выходу во двор...

Эти деньги меня уже не интересовали.

Вообще там, наверху – по моему ведомству, – всегда заботились о том, чтобы я понимала смысл копейки. А поскольку от природы я – мотало, то для такого понимания приходилось меня тяжело учить. Полагаю, выдумывание принудительных работ входило в обязанности моего ангела-хранителя. Это он выписывал наряды.

Например, в молодости, получая приличные гонорары за перевод романов узбекских писателей, я одновременно за сто двенадцать рублей в месяц мучительно преподавала в Институте культуры такую дисциплину – аккомпанемент.

Ездила далеко, двумя трамваями, четыре раза в неделю и занималась добросовестно и строго с юными пастухами, которых ежегодно рекрутировала по горным кишлакам приемная комиссия Института культуры.

Узбекский народ очень музыкален. Любой узбек сызмальства играет на рубабе или гиджаке, на карнае, сурнае, дойре.

Так что набрать группу абитуриентов на факультет народных инструментов не составит труда, даже если члены приемной комиссии, командированной в высокогорные кишлаки, все свое рабочее время проведут в застольях. В данном случае это даже неплохо, так как большой «той» всегда сопровождает игра музыкантов. Сиди себе на расстеленных «курпачах», потягивай водку из пиалы и указывай пальцем на какого-нибудь юного рубаиста.

Отобранные приемной комиссией дети горных пастбищ приезжали в двухмиллионный город – беломраморную столицу советского ханства, – который оглушал и за пять лет растлевал их незащитные души до нравственной тухли. Голубые купола одноименного кафе заслоняли купол мечети; с патриархальными устоями расправлялись обычно к концу второго семестра, отсиживая очередь на уколы в приемной венеролога.

По замыслу чиновников министерства эти обогащенные духовными богатствами мировой культуры пастухи обязаны были вернуться в родные места, чтобы затем в должности худрука в сельском клубе способствовать просвещению масс.

Но – огни большого города... Всеми пальцами повисшего над пропастью пастуха, до судорог эти ребята цеплялись за чудно бренчащую жизнь, и в результате оставались в городе почти все.

Старая история. И лишь немногие из них впоследствии работали по специальности, дирижерами-хоровиками, руководителями народных ансамблей и хоров. Редко кто, помахи-вая палочкой, дирижировал хором Янгиюльской кожгалантерейной фабрики, исполняющим песню Хамзы Хаким-заде Ниязи «Хой, ишчилар!» – что значит «Эй, рабочие!»... Редко, редко кто.

Чаще они уходили в область коммерции, казалось бы абсолютно противоположную тем тонким материям, к которым их приобщали в Институте культуры. Во всяком случае, несколько раз я встречала то одного, то другого своего бывшего студента за прилавком какого-нибудь обувного магазина, и, просияв, он шептал мне интимно: «Есть хороши артыпедишски басаножья»...

Я получила распределение в Институт культуры после окончания консерватории. И хотя к тому времени уже было ясно, что не музыка выщедит мою душу до последней капли горького пота, мама все же считала, что запись в трудовой книжке о преподавательской деятельности в институте в дальнейшем благотворно скажется на сумме моей пенсии.

Вообще, при всей артистичности и склонности орнаментировать свою нелегкую жизнь преподавателя обществоведения, мама почему-то всегда была озабочена будущим «куском хлеба» для своих детей.

Музыка – это кусок хлеба, утверждала она, десять частных учеников в неделю уберегут тебя от такой собачьей жизни, как моя.

Отец считал, что я должна бросить все. Он так и говорил – наплюй на всех. Ты – писатель. Ты – крупная личность. (К тому времени были опубликованы три моих рассказика. Папа часто их перечитывал и, когда его отрывали от этого занятия, сатанел.)

Он болезненно гордился мной, его распирало родительское тщеславие, принимавшее порой довольно причудливые формы.

Однажды моя сокурсница, вернувшись из Москвы и с упоением рассказывая об экскурсии на Новодевичье кладбище, добавила со вздохом белой зависти: «Какие люди там лежат! Нас с тобой там не похоронят».

Дома за ужином я пересказала ее впечатления, не забыв и последнюю фразу, на мой взгляд, довольно смешную.

Папа вдруг изменился в лице и, приподнявшись из-за стола, будто собирался произнести тост, воскликнул:

– В таких случаях говорят только за себя! Ее, конечно уж, на Новодевичьем не похоронят. А тебя – похоронят! – закончил он торжественно, с громадной убежденностью.

Мама, помнится, застыла с ложкой у рта.

Но я все время отвлекаюсь.

Так вот, Институт культуры.

Мне было двадцать два года. Первым делом я на всякий случай сломала замок на двери в аудитории, где проводила уроки.

Тут надо кое-что пояснить.

Строгая пастушеская мораль предков и священное отношение узбеков к девичьей чести абсолютно не касаются их отношения к женщине европейского происхождения – независимо от ее возраста, профессии, положения в обществе и группы инвалидности. По внутреннему убеждению восточного мужчины – и мои мальчики не являлись тут исключением – все женщины-неузбечки тайно или открыто подпадали под определение «джальяб» – проститутка, блудница, продажная тварь. Возможно, тут играло роль подсознательное отвращение Востока к прилюдно открытому женскому лицу.

И хотя к тому времени, о котором идет речь, уже три десятилетия красавицы узбечки разгуливали без паранджи, в народе прекрасно помнили – кто принес на Восток эту заразу.

Ну а я к тому же носила джинсы и пользовалась косметикой яростных тонов – то есть ни по внешнему виду, ни по возрасту не могла претендовать даже на слабое подобие уважения со стороны учеников. Но я знала, что мне делать: строгость, холодный официальный тон и неизменное обращение к студенту на «вы». Я им покажу кузькину мать. Они меня станут бояться. А студенческий страх полностью заглушит скабрёзные мыслишки в дремучих мозгах этих юных пастухов. С тем я и начала свою педагогическую деятельность.

Особенно боялся меня один студент – высокий красивый мальчик лет восемнадцати, в розовой атласной рубашке. Его буквально трясло от страха на моих уроках. Я слышала, как шуршит язык в его пересохшем рту. К тому же он, как и большинство его товарищей, почти не говорил по-русски.

Сидя сбоку от пианино, я строго смотрела мимо студента в окно, постукивая карандашиком по откинутой крышке инструмента.

– Что я вам задавала на дом?

Стоя на почтительном расстоянии от меня и полукланяясь, он отвечал робко:

– Шуман. Сифилисска песен...

Карандашик зависал в моих пальцах.

– Что-что?! – грозно вскрикивала я. – Как-как?!

От страха под мышками у него расплывались темные пятна.

– Доставайте ноты!

Он суетливо доставал из холщовой, неуловимо пастушеской сумки ноты «Сицилийской песенки».

– Читайте!

Сощутив глаза от напряжения и помогая себе, как указкой, подрагивающим пальцем, он старательно прочитывал: «Си-си-лисска песс...»

Особенно ярко – слово в слово – запомнила я один из таких уроков, может быть, потому, что впервые искра сострадания затеплилась в моей подслеповатой душе.

Накануне мы разучивали «Серенаду» Шуберта. Разумеется, перед тем как приступить к разучиванию самой пьесы, я подробно и внятно, простым, что называется, адаптированным языком объяснила, что это за жанр, когда и где зародился, как развивался...

– Итак, повторяем прошлый урок, – начала я, как обычно, сурово. – Будьте любезны объяснить, что такое «серенада».

Он сидел на стуле, держа на коленях смуглые небольшие кисти рук, и тупо глядел в блошиную россыпь нот перед собой.

– Так что это – «серенада»?

– Ашул-ля, – наконец выдал он.

– Правильно, песня, – милостиво кивнула я. – На каком инструменте обычно аккомпанирует себе певец, исполняющий серенаду?

Он молчал, напряженно припоминая, а может быть просто – вспоминая смысл того или другого русского слова.

– Ну... – подбодрила я и жестом подсказала: левой рукой как бы взялась за гриф, кистью правой изобразив потренькивание на струнах.

Не повернув головы, он скосил на меня глаз и испуганно пробормотал:

– Рубаб-гиджак, дрын-дрын...

– Мм... правильно, на гитаре... Э-э... «серенада», как вы знаете – «ночная песнь», исполняется под балконом... чьим?

Он молчал, потупившись.

– Ну? Чьим?... – Я теряла терпение. – Для кого, черт возьми, поется серенада?

– Там эта... девчонка живет... – помявшись, выговорил он.

– Ну-у, да, в общем... что-то вроде этого... Прекрасная дама. Так, хорошо, начинайте играть...

Его потные пальцы тыкались в клавиши, тяжело выстукивая деревянные звуки.

– А нельзя ли больше чувства? – попросила я. – Ведь это песнь любви... Поймите. Ведь и вы кого-нибудь любите?

Он отпрянул от инструмента и даже руки сдернул с клавиатуры.

– Нет! Нет! Мы... не любим!

Этот неожиданный и такой категоричный протест привел меня в замешательство.

– Ну... почему же?... – неуверенно спросила я. – Вы молоды, э... э... наверняка какая-нибудь девушка уже покорила ваше... э... И вероятно, вы испытываете к ней... вы ее любите...

– Нет! – страшно волнуясь, твердо повторил мой студент. – Мы... не любим! Мы... женитц хотим!

Он впервые смотрел прямо на меня, и в этом взгляде смешалась добрая дюжина чувств: и тайное превосходство, и плохо скрытое многовековое презрение мусульманина к неверному, и оскорбленное достоинство, и брезгливость, и страх... «Это ваши мужчины, – говорил его взгляд, – у которых нет ничего святого, готовы болтать с первой встречной «джаляб» о какой-то бесстыжей любви... А наш мужчина берет в жены чистую девушку, и она всю жизнь не смеет поднять ресниц на своего господина...»

Конечно, я несколько сгустила смысл внутреннего монолога, который прочла в его глазах, облекла в слишком литературную форму... да и разные, весьма разные узбекские семьи

знавала я в то время... Но... было, было нечто в этом взгляде... дрожала жилка, трепетал сумрачный огонь...

Именно после этого урока в голову мою полезли несуразные мысли о том, что же такое культура и стоит ли скрещивать пастушескую песнь под монотонный звук рубаба с серенадой Шуберта.

А вдруг для всемирного культурного слоя, который век за веком напластовывали народы, лучше, чтобы пастушеская песнь существовала отдельно, а Шуберт – отдельно, и тогда, возможно, даже нежелательно, чтобы исполнитель пастушеской песни изучал Шуберта, а то в конце концов от этого получается песня Хамзы Хаким-заде Ниязи «Хой, ишчилар!»...

Может, и не буквально эти мысли зашевелились в моей голове, но похожие.

Я вдруг в полной мере ощутила на себе неприязнь моих студентов, истоки которой, как я уже понимала, коренились не в социальной и даже не в национальной сфере, а где-то гораздо глубже, куда в те годы я и заглядывать боялась.

Дома я затанула серенаду о том, что пора бежать из Института культуры.

– Бросай все! – предлагал мой размашистый папа. – Я тебя прокормлю. Ты крупная личность! Ты писатель! Тебя похоронят на Новодевичьем.

Мама умоляла подумать о куске хлеба, о моей будущей пенсии.

– Тебя могут оставить в институте на всю жизнь, – убеждала она, – еще каких-нибудь двадцать, тридцать лет, и ты получишь «доцента», а у доцентов знаешь какая пенсия!..

Беспредельное отчаяние перед вечной жизнью в стенах Института культуры дребезжало в моем позвоночном столбе. Я пыталась себя смирить, приготовить к этой вечной жизни.

(Тогда я еще не догадывалась, что нет ничего страшнее для еврея, чем противоестественное национальному характеру смирение.)

Ничего, говорила я себе, по крайней мере они меня боятся, а значит, уважают. Не могут не уважать.

Дошло до того, что перед каждым уроком – особенно перед уроком с тем студентом, в розовой атласной рубашке, темная тоска вползала в самые глубины моих внутренностей, липким холодным студнем схватывая желудок.

Я бегала в туалет.

Так, однажды, выйдя из дамского туалета, я заметила своего ученика, который на мгновение раньше вышел из мужского. Он со своим русским товарищем шел впереди меня по коридору в сторону аудитории, где через минуту должен был начаться наш урок. И тут я услышала, как с непередаваемой тоской он сказал приятелю:

– Урок иду... Умирайт хочу... Мой «джальяб» такой злой! У мне от страх перед каждый занятий – дрисня...

Помнится, сначала, прислонившись к стене коридора, я истерически расхохоталась: меня поразило то, как одинаково наши кишки отмечали очередной урок. Если не ошибаюсь, я подумала тогда – бедный, бедный... Во всяком случае, сейчас очень хочется, чтоб ход моих мыслей в ту минуту был именно таков...

Потом я поняла, что до конца своих дней обречена истязать этих несчастных ребят, и без того потерявших всякое ощущение разумности мирового порядка.

Я с абсолютной ясностью ощутила, что жизнь моя, в сущности, кончена. Бесконечный ряд юных рубаистов представился мне. В далекой туманной перспективе этот ряд сужался, как железнодорожное полотно. И год за годом, плавно преображаясь из молодой «джальяб» в старую, я строго преподавала им «Серенаду» Шуберта. Потом меня проводили на пенсию в звании доцента. Потом я сдохла – старая, высушенная «джальяб-доцент» – к тихому ликованию моих вечно юных пастухов.

Отшатнувшись от стены, выкрашенной серой масляной краской, я побрела к выходу во внутренний двор, огороженный невысоким забором-сеткой; там, за сеткой, экскаваторы вырыли обморочной глубины котлован под второе здание – Институт культуры расширился.

Подойдя к сетке, я глянула в гиблую пасть земли и подумала: если как следует разбежаться и, перепрыгнув забор, нырнуть головой вниз, то об этот сухой крошащийся грунт можно вышибить, наконец, из себя эту – необъяснимой силы – глинистую тоску.

Мне было двадцать два года. Никогда в жизни я не была еще так близка к побегу.

Краем глаза я видела какую-то ватную личность на скамейке неподалеку. Мне показалось, что спрашивают, который час, и я оглянулась. Плешивый мужик в стеганых штанах крутил толстую папиросу. Он лизнул бумагу широким обложенным языком, заклеил, прикурил и вдруг поманил меня к себе пальцем, похожим на только что скрученную папиросу.

Откуда здесь это ископаемое, бегло подумала я, с этой военной сигаркой, в этих ватных штанах в самую жару...

Я приблизилась. От него несло махоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов. Он равнодушно и устало глядел на меня мутными испитыми глазками бессонного конвойного, много дней сопровождающего по этапу особо опасного рецидивиста.

– Вы спрашивали, который час? – проговорила я неуверенно.

– Домой! – вдруг приказал он тихо. И добавил похабным тенорком: – Живо!

Что прозвучало как «щиво!».

И я почему-то испугалась до спазма в желудке, обрадовалась, оглохла, попятилась, повернулась и пошла на слабых ногах в сторону главного входа – не оборачиваясь, испытывая дрожь облегчения, какая сотрясает обычно тело после сильного зряшного испуга.

Я уходила из Института культуры, оставив в аудитории соломенную шляпу, тетрадь учета посещений студентов и ручные часы, которые по старой пианистической привычке всегда снимала на время занятий.

Я уходила все дальше, спиной ощущая, какая страшная тяжесть, какой рок, какая тоска покидают в эти минуты обреченно ожидающего меня в нашей аудитории мальчика в розовой атласной рубашке.

Ни разу больше я не появилась в Институте культуры, поэтому в моей трудовой книжке не записано, что год я преподавала в стенах этого почтенного заведения. Не говоря уже о том, что и сама трудовая книжка в настоящее время – всего лишь воспоминание, к тому же не самое необходимое.

А пенсия... До пенсии все еще далеко.

* * *

Режиссерский сценарий побежал у меня живее – любое чувство изнашивается от частого употребления, тем более такая тонкая материя, как чувство стыда.

Пошли в дело ножницы. Я кроила диалоги и сцены, склеивала их, вписывая между стыками в скобках: «крупный план», или «средний план», или «проход».

Когда штука была сработана, Анжелла с углубленным видом пролистала все семьдесят пять страниц, почти на каждой мелко приписывая перед пометкой «крупный план» – «камера наезжает».

Из республиканского Комитета по делам кинематографии тем временем подоспела рецензия на сценарий, где некто куратор Шахмирзаева Х. Х. сообщала, что в настоящем виде

сценарий ее не удовлетворяет, и предлагала внести следующие изменения, в противном случае... и так далее.

Поправки предлагалось сделать настолько неправдоподобно идиотские, что я даже не берусь их пересказать. Да и не помню, признаться.

Кажется, главного героя требовали превратить в свободную женщину Востока, убрать из милиции, сделать секретарем ячейки; бабушку перелицевать в пожилого подполковника-аксакала и еще какую-то дребедень менее крупного калибра.

И опять я вскакивала, бежала, как в муторном сне, по длинным кривоколенным коридорам «Узбекфильма», и за мной бежали ассистенты и костюмеры, возвращали, водворяли в русло.

Месяца через полтора я потеряла чувствительность – так бывает во сне, когда занемет рука или нога и снится, что ее ампутируют, а ты руководишь этим процессом, не чувствуя боли, и потом весь остаток сна с противоестественным почтением носишься, как с писаной торбой, с этой отрезанной рукой или ногой, не зная, к чему ее приспособить и как от нее отделаться.

Мы внесли деньги в жилищный кооператив, и на очередном безрадостном желтоглинном пустыре, в котором мама все же сумела отыскать некую привлекательность – кажется, прачечную неподалеку, – экскаваторы стали рыть котлован – такой же страшный, пустынный, желтоглинный...

Я уже ничего не писала, кроме сценария, переставляя местами диалоги, меняя пол героям, вводя в действие новых ублюдочных персонажей; когда казалось, что все это пройдено, очередная инстанция распадалась, как сувенирная матрешка, и передо мной являлась следующая инстанция, у которой к сценарию были свои претензии.

Я впала в состояние душевного оцепенения. У меня работали только руки, совершая определенные действия: резать, клеить, стучать на машинке. Мама не могла нарадоваться на эту кипучую деятельность и каждый день приходила вымыть посуду, потому что я забросила дом.

Анжелла вызванивала меня с утра, требуя немедленно – возьми такси! – явиться, помочь, посоветовать... Целыми днями я хвостом болталась за ней по коридорам и пыльным павильонам «Узбекфильма». Изображались муки поиска актера на главную роль – Анжелла рылась в картотеке, веером раскладывала на столе фотографии скуластых раскосых мальчиков, студентов Театрального института.

Все уже знали, кто будет играть главную роль. Меня же все еще согревала идиотская надежда: найдем, найдем, ну должен он где-то быть – пусть скуластый и раскосый, но обаятельный, мягкий, талантливый мальчик с растерянной улыбкой.

– Малик Азизов... – читала Анжелла на обороте очередной фотографии. – Как тебе этот, в фуражке?

Я пожимала плечами.

– Симпатичный, нет?

– Просто симпатяга! – встревала Фаня Моисеевна.

Анжелла смешивала карточки на столе, выкладывала их крестом, выхватывая одну, другую...

– Вот этот... Турсун Маликов... как тебе?

Я тяжело молчала. Все эти претенденты на главную роль в фильме были похожи на моих пастухов из Института культуры.

– Что-то в нем есть... – задумчиво тянула Анжелла, то отодвигая фото подальше от глаз, то приближая.

– Есть, определенно есть! – энергично кивала Фаня Моисеевна, закуривая тонкую сигарету. – Эдакая чертовщинка!

– Боюсь, никто, кроме Маратика, не даст образ... – вздыхала Анжелла.

– Только Маратик! – отзывалась Фаня Моисеевна.

– Да, но как его уговорить! – восклицала Анжелла с отчаянием.

Она любила своего ребенка любовью, испепеляющей всякие разумные чувства, исключая нормальные родственные отношения. Из их жизни, казалось, выпал важнейший эмоциональный спектр – отношения на равных. Мать либо заискивала перед сыном, либо насакивала на него кошкой со вздыбленной шерстью, и тогда они оскорбляли друг друга безудержно, иступленно.

Разумеется, он был смыслом ее существования.

Разумеется, все линии ее жизни сходились в этой истеричной любви.

Разумеется, моя незадачливая повесть была выбрана ею именно потому, что пришло время воплотить ее божка на экране...

Когда несколько лет спустя, уже в Москве, меня догнала весть о гибели Маратика в автомобильной катастрофе (ах, он всегда без разрешения брал отцовскую машину, и бессильная мать всегда истерично пыталась препятствовать этому!), я даже зажмурилась от боли и трусости, не в силах и на секунду представить себе лицо этой женщины.

* * *

Из Москвы Анжелла выписала для будущего фильма оператора и художника.

Хлыщеватые, оба какие-то подростковатые, друг к другу они обращались: Стасик и Вячик – и нежнейшим образом дружили семьями лет уже двадцать.

У одного были жена и сын, у другого – жена и дочь, и оба о женах друг друга как-то перекрестно упоминали ласкательно: «Танюша», «Оленька»...

Они постоянно менялись заграничными панамками, курточками и маечками. Я не удивилась бы, если б узнала, что эти ребята живут в одном номере и спят валетом – это вполне бы вписывалось в их двоянный образ... Да если б и не валетом – тоже не удивилась бы.

Анжелла очень гордилась тем, что ей удалось залучить в Ташкент профессионалов такого класса. Я, правда, ни о том ни о другом ничего не слышала, но Анжелла на это справедливо, в общем, заметила, что я ни о ком не слышала, об Алле Пугачевой, вероятно, тоже...

– Что, скажешь, ты не видела классную ленту «Беларусьфильма» «Связной умирает стоя»?! – брезгливо спросила Анжелла.

Мне пришлось сознаться, что не видела.

– Ты что – того? – с интересом спросила она. – А «Не подкачай, Зульфира!» – студии «Туркменфильм», в главной роли Меджиба Кетманбаева?.. А чего ты вообще в своей жизни видела? – после уничтожительной паузы спросила она.

– Так, по мелочам, – сказала я, – Феллини-меллини... Чаплин-маплин...

– Снобиха! – отрезала она. (Когда она отвлеклась, я вытянула из сумки записную книжку и вороватым движением вписала это дивное слово.)

Выяснилось, что Стасик, оператор, как раз снимал фильм «Связной умирает стоя», а художник, Вячик, как раз работал в фильме «Не подкачай, Зульфира!».

По случаю «нашего полку прибыло» Анжелла закатали у себя грандиозный плов.

На кухне в фартуке колдовал над большим казаном Мирза: мешал шумовкой лук и морковь, засыпал рис, добавлял специи. На его худощавом лице с мягкой, покорно-женственной

линией рта было такое выражение, какое бывает у пожилой умной домработницы, лет тридцать живущей в семье и всю непривлекательную подноготную этой семьи знающей.

Он был еще не сильно пьян, даже не качался, и мы с ним поболтали, пока он возился с пловом. Он рассказал о величайшем открытии, сделанном учеными буквально на днях, – что-то там с полупроводниками, – бедняга, он не знал, что рассказывать мне подобные вещи – все равно что давать уроки эстетики дождевому червю. Но я слушала его с заинтересованным видом, кивая, делая участливо-изумленное лицо. Не то чтобы я лицемерила. Просто мне доставляло безотчетное удовольствие следить за движениями его сноровистых умных рук и слушать его голос – он говорил по-русски правильно, пожалуй слишком правильно, с лекционными интонациями.

Вообще здесь он был единственно значительным и, уж без сомнения, единственно приятным человеком.

За столом ко мне подсел оператор, Стасик, и, дыша коньяком, проговорил доверительно и игриво:

– Я просмотрел ваш сценарий... Там еще есть куда копать, есть!

Я кивнула в сторону огромного блюда со струящейся желто-маслянистой горой плова, в которой, как лопата в свежем могильном холмике, стояла большая ложка, и так же доверительно сказала:

– Копайте здесь.

Он захохотал.

– Нет – правда, там еще уйма работы. Надо жестче сбить сюжет. Не бойтесь жесткости, не жалейте героя.

– Чтоб связной умирал стоя? – кротко уточнила я.

А через полчаса меня отыскал nepотpeбно уже пьяный Вячик. Он говорил мне «ты», боролся со словом «пространство» и, не в силах совладать с этим трудным словом, бросал начатое, как жонглер, упустивший одну из восьми кеглей, и начинал номер сначала.

– А как ты мыслишь художесно... посра... просра... просраста фильма? – серьезно допытывался он, зажав меня в узком пространстве между сервировочным столиком и торшером, держа в правой руке свою рюмку, а левой пытаясь всучить мне другую. – У тебя там в ссы... ссынарии... я просра... поср... простарства не вижу...

* * *

Целыми днями Анжелла с «мальчиками» – Стасиком, Вячиком и директором фильма Рауфом – «искали натуру». Они разъезжали на узбекфильмовском «рафике» по жарким пригородам Ташкента, колесили по колхозным угодьям, по узким улочкам кишлаков.

Я не могла взять в толк – зачем забираться так далеко от города, создавая массу сложностей для съемок фильма, в то время как в самом Ташкенте, в старом городе, зайди в любой двор и снимай самую что ни на есть национальную душевную драму – хоть «Али-бабу», хоть «Хамзу», хоть и нашу криминальную белиберду.

Помню, я даже задала этот вопрос директору фильма Рауфу.

– Кабанчик, – сказал он мне проникновенно (он со всеми разговаривал проникновенным голосом и всех, включая директора киностудии, называл «кабанчиком», что было довольно странным для мусульманина). – Чем ты думаешь, кабанчик? Если не уедем, где я тебе командировочных возьму?

И я, балда, поняла наконец: снимая фильм в черте города, съемочная группа лишилась бы командировочных – 13 рублей в сутки на человека.

Раза два и меня брали с собой на поиски загородных объектов.

Для съемок тюремных эпизодов выбрали миленькую, как выразилась Анжелла, тюрьму, только что отремонтированную, с железными, переливающимися на солнце густозеленой масляной краской воротами.

Съемочная группа дружной стайкой – впереди какой-то милицейский чин, за ним щебе-чущая Анжелла в шортах, Стасик в кепи и с кинокамерой на плече, пьяный с утра Вячик, мы с Рауфом – прошвырнулась по коридорам пахнущего краской здания, энергично одобряя данный объект.

Нас даже впустили во внутренний – прогулочный – двор, при виде которого я оторопела и так и простояла минут пять, пока остальные что-то оживленно обсуждали.

Прогулочный двор тюрьмы представлял собой нечто среднее между декорацией к модернистскому спектаклю и одной из тех гигантских постмодернистских инсталляций, которые в западном искусстве вошли в моду лет через пять.

Это была забетонированная площадка, со всех сторон глухо окруженная бетонной высокой стеной, с рядами колючей проволоки над ней. Вдоль торцовой стены – как сцена – возвышался подиум с двумя ведущими к нему ступенями. На подиуме рядом стояли три новеньких унитаза, по-видимому установленные на днях в ходе ремонта. Они отрадно сверкали эмалью под синим майским небом, свободным – как это водится в тех краях – от тени облачка.

«Течет ре-еченька по песо-очечку,
бережочки мо-оет...» —

послышалось мне вдруг. Запрокинув голову, я пересчитала взглядом зарешеченные окна вверх. Нет, показалось. Щелк ассоциативной памяти.

«Ты начальничек, винтик-чайничек,
отпусти до до-ому...»

– Ах, какие дивные параши! – воскликнул Вячик. – Задрапировать их, что ли! Под королевский трон! Под кресло генсека ООН!

И Стасик, вскинув камеру, принялся снимать постмодернистскую сцену с тремя унитазами...

После длительных поисков Анжелла и мальчишки остановили свой выбор на районном центре Кадыргач – была такая дыра в окрестностях Ташкента. Для съемок фильма на лето сняли большой, типично сельский дом с двориком, принадлежащий, кажется, бухгалтеру колхоза, и – для постоя всей съемочной группы – верхний этаж двухэтажной районной гостиницы «Кадыргач».

Стояла жара – еще не пыльный августовский зной, а душный жар середины мая. Не знаю, какую культуру, кроме хлопка, выращивал колхоз «Кадыргач», но в местной гостинице и закрытой столовой обкома, куда нас однажды по ошибке пустили пообедать (потом опомнились и больше уже не пускали. Смутно помню очень мясные голубцы по двенадцать копеек порция, жирный плов и компот из персиков), – во всем этом благословенном пригороде произрастали, реяли, парили, зависали в плывущем облаке зноя и, кажется, охранялись обществом защиты животных зудящие сонмища мух.

Гостиница производила странное впечатление. Первый этаж – просторный, с парадным подъездом, с мраморными панелями и полом и даже двумя круглыми колоннами в холле – выглядел вполне настоящим зданием. Второй же этаж казался мне декорацией, спешно возведенной к приезду съемочной группы. Это были узкие номера по обеим сторонам беззаконного и оттого вечно темного коридора, разделенные между собой тонкими перегородками.

Впрочем, в номере оказался унитаз – удобство, о котором я и мечтать не смела. Унитаз был расколот сверху донизу – то ли молния в него шарахнула, то ли ядрами из него палили, – но трещину заделали цементом, и старый ветеран продолжал стойко нести свою невеселую службу.

Анжелла сняла «люкс» в противоположном конце коридора – две смежные комнатки с такой же командировочной мебелью. В гостиной, правда, стояли несколько кресел образца куцега дизайна шестидесятых годов.

Вокруг Анжеллы крутились пять-шесть девочек от восемнадцати до шестидесяти лет – костюмерши, гример, ассистентки. Появился второй режиссер фильма Толя Абазов – образованный, приятный и фантастически равнодушный ко всему происходящему человек, – он единственный из всей группы не имел претензий к моему сценарию, поскольку не читал его.

(Кажется, он так и не прочел его никогда. За что я до сих пор испытываю к нему теплое чувство.)

Первые дни в «люксе» шли репетиции – сидя в кресле и разложив на коленях листки сценария, Анжелла лениво отщипывала по сизой виноградине от тяжелой кисти. Репетировали небольшой эпизод из середины фильма.

Если до того рухнули все мои представления о работе режиссера над сценарием, то сейчас полетело к черту все, что я знала и читала когда-либо о работе режиссера с актерами.

С утра Толя Абазов привозил из Ташкента в «рафике» двух студентов Театрального института, занятых в эпизоде. Один репетировал роль уголовника, другой – роль лейтенанта милиции.

Оба мальчика выглядели если не близнецами, то уж во всяком случае родными братьями. Текста сценария оба, естественно, не знали, и, как выяснилось, к актерам никто и не предъявлял подобных вздорных требований. А я, как на грех, почему-то нервничала, когда вместо текста актер нес откровенную чушь. Эта моя реакция неприятно меня поразила. Я была уверена, что мое авторское самолюбие благополучно издохло, но выяснилось, что оно лишь уснуло летаргическим сном и сейчас зашевелилось и замычало.

– Не психуй, – раздраженно отмахивалась Анжелла. – Мы же потом найдем укладчицу!

Слово «укладчица» вызывало в моем воображении грузных женщин в телогрейках, с лопатами, выстроившихся вдоль полотна железной дороги, а также шпалы, рельсы, тяжело несущиеся куда-то к Семипалатинску поезда...

– Толя, что значит – «найдем укладчицу»? – тревожным полупшепотом спросила я у Абазова.

Тот посмотрел на меня безмятежным взглядом и проговорил мягко:

– Приедет блядь с «Мосфильма». Заломит цену. Ей дадут. Она всем даст. Потом будет сидеть, задрав ноги на кресло и сочинять новый текст в соответствии с артикуляцией этих ферганских гусаров.

– Как?! – потрясенно воскликнула я. – А... а сценарий!! А... все эти инстанции?! «Образ героя не отвечает»?!

Он нагнулся к блюду с фруктами и, оторвав синюю гроздку, протянул мне:

– Хотите виноград?..

Буквально репетиции проходили так.

– Тыходишь оттуда, – приказывала Анжелла одному из мальчиков, репетирующему роль подследственного. – А ты стоишь там, – указывала она пальцем мальчику, репетирующему роль следователя.

– Да нет, Анжелла, нет!! – взвизывался оператор Стасик, который с самого своего приезда ревностно выполнял обязанности Старшего Собрата по творчеству. – Куда это годится, ты

разрушаешь всю пространственную концепцию. Это он, наоборот, должен стоять там, а тот – выходить оттуда! Это ж принципиально разные вещи!

Потоптавшись у дверей, мальчик, репетирующий подследственного, делал нерешительный шаг в сторону окна, где стоял его товарищ, репетирующий следователя, и говорил неестественно бодрым голосом:

– Здорово начальник! Вызывал?

– Там нет этого идиотского текста!! – вопила я из своего угла. – Почему вы не учите роль?!

– Отстань, придет укладчица, всех уложит, – огрызалась Анжелла. – Не мешай репетировать. Сейчас главное – как они двигаются в мизансцене. А ты не стой, как козел! – обращалась она к мальчику. – Ты нахальней так: «Здорово, начальник! Вызывал?»

– Учите роль, черт возьми! – нервно вскрикивала я.

– Нет-нет, Анжелла, я принципиально против этой мизансцены! – Стасик вскакивал с кресла – атласно выбритый, в белом кепи и белой маечке с картинкой на груди – задранные женские ножки – и надписью по-английски: «Я устала от мужчин». – Он должен стоять вот здесь, повернувшись спиной к вошедшему, и когда тот входит и говорит: «Здорово, начальник, вызывал?» – поворачивается...

– И камера наезжает, – подхватывала Анжелла, – и глаза крупным планом... Ну, пошел, – предлагала она несчастному студенту, – оттуда, от дверей...

– Здорово, начальник! Вызывал? – вымученно повторял мальчик, косясь на Анжеллу.

– Да не так, не так, более вкрадчиво: «Здорово, начальник, вызывал?»

– Здорово, нача-альник...

– Нет. – Анжелла откидывалась в кресле, сидела несколько мгновений, прикрыв глаза, потом говорила мне устало: – Покажи ему, как надо.

Я шла к двери, открывала и закрывала ее, делая вид, что вошла, скраивала на лице ленивое и хитрое выражение, одергивала воображаемую рубаху, рассматривала воображаемые сандалии на грязных ногах и – столько интеллектуальной энергии уходило у меня на эти приготовления, что когда я наконец открывала рот, то говорила приветливо и лукаво, как актер Щукин в роли Ленина:

– Здорово, начальник! Вызывал?..

* * *

После того как на главную роль в фильме был утвержден Маратик, я перестала интересоваться актерами, приглашенными на роли остальных героев.

Толя Абазов съездил в Москву и привез двух актеров, кажется – Театра Советской Армии. Один должен был играть Русского Друга, впоследствии убитого уголовной шпаной (трагическая линия сценария), второй, маленький верткий армянин с печальными глазами, играл узбекского дедушку главного героя (комическая линия сценария). Ребята были бодрые, по-столичному ироничные и всегда поддаты. Они приехали подзаработать и поесть фруктов и шашлыков.

На роль бабушки главного героя (лирическая линия сценария) привезли из Алма-Аты народную артистку республики Меджибу Кетманбаеву – плаксивую и вздорную старуху со страшным окаменелым лицом скифской бабы. Она затребовала высшую ставку – 57 рублей за съемочный день, «люкс» в гостинице и что-то еще невообразимое – кажется, горячий бешбармак каждый день.

Директор фильма Рауф приезжал увещевать бабку.

– Кабанчик, – говорил он ей плачущим голосом, – ты ж нас режешь по кусочкам! Где я тебе бешбармак возьму, мы ж и так тебе народную ставку дали. Кушай народную ставку, кабанчик!

(В конце концов она повздорила с Анжеллой и уехала, не доснявшись в последних трех эпизодах. Я, к тому времени совсем обалдевшая, вяло поинтересовалась, что станет с недо-снятыми эпизодами.

– Да ну их на фиг, – отозвалась на это повеселевшая после отъезда склочной бабки Анжелла. – Вот приедет укладчица, она всех уложит...)

В один из этих дней Анжелла с гордостью сообщила, что музыку к фильму согласился писать не кто иной, как сам Ласло Томаш, известный композитор театра и кино.

Дальше следовала насторожившая меня ахинея: будто бы Ласло Томаш, прочитав наш сценарий, пришел в такой восторг, что, не дождавшись утра, позвонил Анжелле ночью.

– Не веришь? – спросила Анжелла, взглянув на мое лицо. – Спроси сама. Он приезжает сегодня и в три часа будет на «Узбекфильме».

Мы околачивались на студии – подбирали костюмы, смотрели эскизы Вячика к фильму. Основной его художественной идеей была идея драпирования объектов. Всех.

– Драпировать! – убеждал он Анжеллу. Это было единственное трудное слово, которым он владел в любом состоянии. – Драпирование – как мировоззрение героя. Он – в коконе. Весь мир – в коконе. Складки, складки, складки... Гигантские складки неба... гигантские складки гор...

– Слушай, где небо, где горы? – слабо отбивалась Анжелла. – Главный герой – следователь милиции. Маратик не захочет драпироваться.

Между тем было, было что-то в этой идее, которой посвятил свою жизнь Вячик. В первые дни Анжелла, обычно подпадавшая под очарование творческих идей свежего человека, дала ему волю. И наш художник всего за несколько часов до неузнаваемости задрапировал дом главного бухгалтера: развесил по стенам, по люстрам, по стульям какие-то дымчатые прозрачные ткани. Все эти воздушные шарфы и шлейфы колыхались и нежно клубились в струях сквозняков. А поскольку левое крыло дома осталось обитаемым и по двору время от времени сновали какие-то юркие молчаливые женщины – дочери, невестки, жены бухгалтера, – то все это сильно смахивало на декорации гарема.

Правда, в первый день съемок, примчавшись на гремящем мотоцикле, Маратик навел порядок на съемочной площадке. Он посрывал все драпировки мускулистой рукой каратиста, покрикивая:

– Оно по голове меня ползает! Я что – пидорас, что ли, в платочках ходить?

И директор фильма Рауф успокаивал полуобморочного Вячика:

– Кабанчик, ну не скули – какой разница, слушай – тряпка туда, тряпка сюда... Все спишем, кабанчик!

В три мы спохватились, что забыли позвонить на проходную, заказать пропуск для Ласло Томаша, а на проходной сидел-таки вредный старикашка. Вернее, он не сидел, а полулежал за барьером на сдвинутых стульях, накрытых полосатым узбекским халатом, и весь день пил зеленый чай из пиалы. Старик то ли притворялся, то ли действительно находился в крепкой стадии склероза, только он совсем не помнил лиц, ни одного. Он не помнил лица директора студии. Но обязанности свои помнил.

По несколько раз в день он заставлял демонстрировать бумажку пропуска или красные членские книжечки творческих союзов.

Выскочишь, бывало, за пивом – проходная пуста. И вдруг на звук твоих шагов из-за барьера вырастает, как кобра, на длинной морщинистой шее голова старикашки: «Пропск!»

Ну, покажешь членский билет, чего уж... Бежишь назад с бутылками пива – над барьером проходной опять всплывает сморщенная башка, покачивается: «Пропек!» Егги твою, дед, я ж три минуты назад проходил! Нет, хоть кол ему на голове... «Пропск»!

Так что Анжелла попросила меня спуститься, вызволить на проходной Ласло Томаша.

Я сбежала по лестнице, пересекла виноградную аллею узбекфильмовского двора.

Навстречу мне шел высокий человек в очках, с крючковатым маленьким носом.

– Вы – Ласло? – спросила я как можно приветливей. – Ради Бога, извините, мы забыли заказать пропуск. Вас, наверное, охранник не пускал?

Он внимательно и сумрачно взглянул на меня сверху. Производил он впечатление человека чопорного и в высшей степени респектабельного; назидательно приподняв одну бровь, отчего его маленький крючковатый нос стал еще вышемернее, он сказал:

– Вехотно, соби́хался не пускать... Но я его сха́зу выхубил. На всякий случай.

(Он одновременно грассировал и по-волжски окал. Так бы мог говорить Горький-Ленин, если б был одним человеком.)

– ...Как?.. – вежливо переспросила я, полагая, что ослышалась. В конце концов, Ласло был венгром и в Союзе жил только с 65-го года.

– Да так... Саданул сапогом по яйцам и – будь здохов, – пояснил он, не меняя назидательного выражения лица. – Вон он, валяется квехху жопой. С кем имею честь столь пхиятно беседовать?

– Я автор сценария, – пробормотала я, косясь в сторону проходной, где и правда старик охранник неподвижно лежал (как всегда, впрочем) на сдвинутых стульях.

После этих моих слов Ласло Томаш повалился мне в ноги. Лбом он крепко уперся в пыльную сандалию на моей правой ноге и замер.

Я в полной оторопи смотрела на его шишковатую плешь, окруженную легким седоватым сорнячком, и не могла сдвинуть ногу, к которой он припал, как мусульманин в молитвенном трансе.

С полминуты длилась эта дикая пантомима, наконец Ласло вскочил, поцеловал мне руку и стал говорить, как ему понравился сценарий, какие в нем легкие, изящные диалоги и прочее – вполне приятный и светский, ни к чему не обязывающий разговор. На мгновение я даже подумала, что все мне привиделось.

– Вы... вытрите, пожалуйста... вот здесь, – пролепетала я, показывая на его лоб с грязноватой плетеночкой следа от моей сандали.

За те три минуты, в течение которых мы поднимались по лестнице и шли по коридорам студии, я успела узнать, что Ласло – последний венгерский граф Томаш, что он расстался с женой, не сумевшей родить ему сына, который бы унаследовал титул, что недавно он перешел из лютеранства в православие и нынче является монахом в миру; что ленинградский Кировский театр готовит к премьере его новый балет «Король Лир», и нет ли у меня с собой какой-нибудь крепящей таблетки, поскольку с утра у него – от дыни, вероятно, – сильнейший понос.

Через полчаса мы сидели в маленькой студии и смотрели куски отснятого материала: кадр – бегущий куда-то Маратик, кадр – немо орущий в камеру Маратик, кадр – довольно профессионально дерущийся Маратик; два-три кадра, в которых старая хрычовка Меджиба Кетманбаева небрежно отрабатывала свою народную ставку в немой сцене с внуком – Маратиком, и несколько долгих кадров мучительного вышагивания по коридорам здания милиции задумчиво (беззвучно, разумеется) беседующих Маратика с артистом Театра Советской Армии.

Когда зажегся свет, я услышала тяжелый вздох Толи Абазова.

– Гениально! – твердо и радостно проговорил Ласло Томаш. – Поздравляю вас, Анжелла! Поздравляю всю съемочную гхуппу! Это будет лента года. Я напишу очень хогошую музыку. Я уже слышу ее – вступление. Это будет двойной свист.

Наступила пауза.

- Двойной? – зачарованно переспросила Анжелла.
- Мужской и женский свист на фоне лютни и ксилофона.
- Толя опять вздохнул.

Когда через полтора часа мы с Ласло Томашем вышли за ворота киностудии – Анжелла попросила меня показать композитору город, – я осторожно спросила:

- Ласло... а вам действительно понравилось то, что вы сегодня видели на экране?

– Конечно! – оживленно воскликнул тот. – Пхосто я, как пхоффессионал, вижу то, чего еще нет, но обязательно будет. Я убежден, что это будет снотсшибательная лента... По вашему гениальному сценарию... – (тут я искоса бросила на него взгляд: нет, воодушевление чистой воды и ни грамма подтекста), – с замечательной хежиссухой Анжеллы и блистательным главным гехом – кстати, что это за выдающийся мальчик, где вы его нашли?

– Долго искали, – упавшим голосом пробормотала я. И помолчав, спросила: – Скажите, а вас не смущает то, что камера оператора постоянно сосредоточена на джинсах героя и очень редко переходит на его лицо?

– А на чехта мне его лицо, – доброжелательно ответил последний граф Томаш, – он же ни ххена этим лицом не выхажает. Его мочеполовая система гохаздо более выхазительна. И опехатох, несмотря на то, что он всесоюзно известный болван, это пхекхасно понял.

Так что хабота мастехская. Жаль только, что художником фильма вы взяли этого пигоха с его вечными дхепиховками. Я пхедлагал еще в Москве Анжелле пхигласить выдающегося художника, моего дхуга. Его зовут Бохис, я обязательно познакомлю вас. Он пхочел сценарий и пхишел в полнейший востохг... К сожалению, дела не позволили ему выхваться из Москвы... А этот пидох, – с радостным оживлением закончил Ласло, – он, конечно, загубит дело. Я пхосто убежден, что это будет ослепительно ххеновая лента...

Целый день мы гуляли по городу с последним венгерским графом. Постепенно, в тумане полного обалдения от всего, что выпевал он своим горьковско-ленинским говорком, я нащупала то, что называют логикой характера. Граф был веселым мистификатором, обаятельным лгуном. Он мог оболгать человека, которого искренне любил, – к этому надо было относиться как к театральному этюду. Его слова нельзя было запоминать, и тем более – напоминать о них Ласло. Следовало быть только преданным зрителем, а то и партнером в этюде и толково подавать текст. Он, как и моя мать, обряжал жизнь в театральные одежды, с той только разницей, что моя задавленная бытом мама никогда не поднималась до высот столь ослепительных шоу.

По пути мы зашли в гостиницу «Узбекистан», где остановился Ласло, – кажется, ему потребовался молитвенник; получалось так, что без молитвенника дальнейшей прогулки он себе не мыслил.

В одноместном номере над узкой, поистине монашеской постелью, чуть правее эстампа «Узбекские колхозники за сбором хлопка», висело большое распятие, пятьдесят на восемьдесят, не меньше. Я постеснялась спросить, как он запикивает его в чемодан, и удержалась от просьбы снять со стены и попробовать на вес – тяжелое ли.

Ласло демонстративно оборвал наше веселое щебетанье на полуслове, преклонил колена и, сложив ладони лодочкой, мягким голосом прогундосил молитву на греческом.

Я наблюдала за ним с доброжелательным смирением.

Поднявшись с колен, монах в миру потребовал, чтобы я немедленно надписала и подарила ему свою новенькую книжку, изданную ташкентским издательством на плохой бумаге. (В те дни она только вышла, и я таскала в сумке два-три экземпляра и всем надписывала.)

Потом Ласло велел прочесть вслух один из рассказов в книге.

– Я читаю и говохю на восьми языках, – пояснил он, – но кихиллицу пхедпочитаю слушать.

Тут я поняла, что он просто не мог прочесть моего сценария. У меня как-то сразу отлегло от сердца, и я с выражением прочла довольно плохой свой рассказ, от которого Ласло прослезился.

– Да благословит Господь ваш талант! – проговорил он, плавно перекрестив меня с расстояния двух метров. Так художник широкой кистью размечает композицию будущей картины на белом еще холсте. – Я увезу вас в Шахапову охоту, – заявил он, просморкавшись.

– Куда? – вежливо переспросила я.

– Шахапова охота – это станция под Москвой. У меня там дом. Я увезу вас в Шахапову охоту, пхикую кандалами к письменному столу и заставлю писать день и ночь...

– Спасибо, – сказала я благодарно, стараясь посеребрить свой голос интонациями преданности, – боюсь, что...

– Вам нечего бояться!! – воскликнул он страстно. – Я монах в миху, и вы интехесуете меня только с духовной стохоны...

Перед тем как выйти из номера, Ласло опять молился, хряпнувшись на колени. У меня рябило в глазах и ломило в затылке.

Под вечер мы добрались ко мне домой, просто некуда было девать графа – он повсюду плелся за мной. В холодильнике у меня обнаружились – спасибо мамочке – свежие котлеты, я нарезала помидоры и огурцы, открыла банку сайры.

Перед тем как приступить к ужину, Ласло опять молился на греческом, благоговейно склонив голову с легким седым сорнячком вокруг неровной лысины.

Мой шестилетний сын, привычный к разнообразным сортам гостей, заворуженно смотрел на него.

После ужина Ласло размяк, играл нам на моей расстроенной гитаре пьесу Скарлатти, потом читал стихи Гёте на немецком и время от времени повторял вдохновенно и угрюмо:

– Я увезу вас в Шахапову охоту, пхикую кандалами к письменному столу, а вашего сыночку буду учить игхать на лютне.

Наконец, часам уже этак к двенадцати, когда гундосое пение молитв, грассирующее оканье и звуки гитары слились для меня в одурачивающий плеск прибоа, мне удалось проводить Ласло Томаша до нашей станции метро.

В виду подходящего к платформе поезда монах в миру, последний граф Томаш, попеременно целовал мне обе руки, а потом размашисто крестил меня из уносящегося в туннель вагона...

Тихо открыв дверь ключом, я на цыпочках, чтоб не разбудить сына, вошла в комнату. Мой сын стоял у окна и, сложив ладони лодочкой на уровне груди, сонно бормотал куда-то в потолок:

– Боженька, прости меня, что я у Кривачевой трусы подглядывал...

* * *

Анжелла обожала ночные съемки. Утром съемочная группа тяжело отсыпалась на потных подушках в душных гостиничных койках.

Часам к двенадцати вяло поднимались, стайками, по двое, по трое, плелись на крошечный местный базар – купить лепешек и фруктов, днем репетировали очередную сцену, видоизмененную в процессе репетиций настолько, что я уже путалась в героях и совершенно не помнила порядок эпизодов.

Вечером опять разбредались по номерам, а к ночи набивались в «рафик» и пыльными кривыми улочками, мимо двухэтажной школы и глинобитной мечети с невысоким минаретом, скорее похожим на трибуну, наспех сколоченную для первомайской демонстрации, вва-

ливались во двор дома главного бухгалтера. (Бедняга бухгалтер, надо полагать, уже проклял ту минуту, когда, польстившись на узбекфильмовские деньги и межрайонную славу, отдал на поругание городским собакам дом деда своего.)

Со времен борьбы с басмачами сонные улочки колхоза «Кадыргач» не оглашались подобными воплями и руганью на обоих языках. Мальчишки-осветители тошнотворно долго устанавливали лампы на треногах, по утоптанной земле двора змеились провода. Бежали с последними приготовлениями ассистенты, гримерша, костюмерша, роняя шляпы, шали, милицейские фуражки. Крутился под ногами съемочной группы мелкий бухгалтерский помет – от годовалого, на зыбких ножках, малыша до девочек-подростков на выданье.

Немедленно выяснялось, что каждый забыл в гостинице что-то из реквизита: костюмерша – ту или другую деталь дедушкиного костюма, гримерша – пудру, белобрысый ассистент оператора – хреновину, без которой не будет действовать вся осветительная аппаратура...

«Рафик» гоняли в гостиницу и обратно еще раза два-три. Почему-то все орали друг на друга: Анжелла орала на всю съемочную группу, Маратик – на Анжеллу, Стасик – на Маратика, который не желал двигаться согласно пространственной концепции оператора. Маратик вообще не желал делать ничего, что не исходило из глубин его собственного организма, а организм его поминутно сотрясали импульсы, наработанные годами тренировок в республиканской школе каратэ. (Вероятно, поэтому лирический герой в нашем фильме рубит воздух железной ладонью и лягается, как мул, которому досаждают слепни.)

Но наступал момент, когда все наконец оказывались на своих местах: Стасик – за камерой, актеры – где кому положено по замыслу оператора и режиссера, убаженный заискивающей матерью, но все равно презрительно остервенелый Маратик – в центре сцены, и тогда...

– Мо-торрр!! – пронзительно тонко вскрикивала Анжелла. При этом она выбрасывала вверх руки и задирала голову в ночное агатовое небо. Она была похожа на маленькую девочку, вопящую «урра!» при виде салюта, взорвавшегося в небе ослепительным, красно-сине-зеленым розаном.

– Мо-торр! (Урра!!) – вздетые тонкие руки вразброс, голова запрокинута: восторг, упоение, салют, бумажный змей на ветру, воздушные шары над стадионом... – я все ей сразу простила. Просто махнула рукой, поняла – с кем имею дело. Это был неразумный невоспитанный ребенок сорока восьми лет, которого не научили, что чужую игрушку брать нехорошо, обзывать – некрасиво, а влезать в разговоры взрослых со своими детскими глупостями – нельзя. И я, человек от рождения не просто взрослый, а пожилой, простила ей, как прощают детям...

Кажется, меня хватило на две такие ночные съемки. Потом я стала увиливать – отговаривалась головной болью.

Сейчас трудно поверить, что в гостинице меня удерживали тринадцать рублей суточных. Честно говоря, все пытаюсь вспомнить – неужели так худо было у меня с деньгами, неужели из-за них я терпела эту гостиницу с дружными табунками мух, переругивающихся Анжеллу с Маратиком, пьяного Вячика с его драпировками, Стасика с его майкой «Я устала от мужчин»?..

* * *

В одну из таких ночных съемок я опять осталась в гостинице. Выждала, когда от главного входа отчалит галдящая гондола – узбекфильмовский «рафик», уносящий к бухгалтеру всю кодлу – («А где шляпа? Где соломенная шляпа для дедушки?» – «Кабанчик, откуда я тебе

шляпу возьму, пусть вот мою тюбетейку наденет...»), – и от нечего делать спустилась в вестибюль посмотреть телевизор.

У гостиничной стойки прохаживались три молодых негра. Двое – высокие, поджарые, с неестественно выпуклыми грудными клетками и столь же неестественно крутыми задками; третий обладал устрашающей бизоньей внешностью: налитые кровью глаза, мощный торс, обтянутый хлопчатобумажной дико-оранжевой майкой производства ташкентской трикотажной фабрики. По вестибюлю носился навязчивый запах спиртного. Негры на ломаном русском препирались с администратором Машей.

«Откуда здесь негры?» – подумала я, не слишком, помнится, сосредотачиваясь на этой мысли.

В ташкентском Ирригационном институте обучались студенты из дружественных стран черной Африки, так что ничего сверхъестественного в появлении этих парней здесь не было.

Минуты три я лениво наблюдала по телевизору национальные узбекские танцы в сопровождении дойры, потом вышла на улицу. Через пыльную площадь к гостинице слаженно танцующей походкой подплывали еще двое. Эти были откровенно пьяны, и у одного – необычайно гибкого, как лиана, – из кармана брюк торчала бутылка.

Заметив меня, они почему-то страшно оживились, задержались, замахали руками (так и хотелось вручить им тамтам) и закричали – довольно мирно, впрочем, – что-то по-французски. Я различила слово «мадемуазель».

«Поднимусь-ка я в свой номер», – подумала я.

Проходя мимо стойки, где Маша запирала какие-то ящики и шкафчики, я спросила:

– А вы что, уходите, тетя Маш?

– Да вот, внучка заболела, – сказала она расстроено. У нее было уставшее стертое лицо, такой бывает кожа на пальцах после длительной стирки. – Воспаление легких. И где подхватила в такую жару? Пойду посижу с ней – здесь недалеко. Ничо, не сгорит тут без меня эта халабуда.

– А те привлекательные молодые люди, что – туристы? – спросила я.

– Кто – черножопые? – уточнила она. – Да шут их знает, какая-то у них тут конференция, что ли... Вон зенки-то залили... Эти Маугли вы-выступят на конференции-то... – Она проверила, подергав, заперты ли ящики, и вышла из-за стойки.

– Ты, девка, иди-ка в свой номер, иди, – посоветовала она. – Неча тебе тут околачиваться. Дверь запирается? И ладно. А чуть чего – вот у меня телефон. Зови милицию.

Я поднялась в свой номер, заперла дверь и вдруг поняла, что осталась на ночь в гостинице одна с компанией дюжих негров, свезенных кем-то сюда на какую-то таинственную конференцию.

Ну, спокойно, сказала я себе, зачем сразу-то психовать? Они люди, такие же, как ты. Ну, выпили. Сейчас разойдутся по номерам – спать...

Не зажигая света, я прилегла в одежде на койку и стала напряженно прислушиваться к звукам, доносившимся из вестибюля.

Участники конференции, как видно, вовсе не собирались расходиться. Наоборот – веселье крепло и, судя по ритмичным воплям и прихлопываниям, приобретало плясовой характер.

Хоть бы они упились, наплясались и свалились, думала я, тяжело глядя в бледный потолок, по которому нервно ходила ажурная тень от молодого клена.

Я недооценила здоровье и выносливость этих детей природы.

Вскоре по вестибюлю забегали, тяжело топая. Возможно, ребята решили посоревноваться в беге наперегонки, потому что топот и вопли минут сорок равномерно сотрясали гостиницу.

И тут в диких криках я вновь различила слово «мадемуазель».

Сердце мое лопнуло, как воздушный шарик, и обвисло тряпочкой, но тело мгновенно стало легким, сухим и взвинченным. Я взметнулась с койки и бросилась к окну: очень высокий второй этаж. До смерти, вероятно, я не убила бы, но позвоночник и руки-ноги, несомненно бы, переломала. К тому же окно выходило во внутренний двор гостиницы, заасфальтированный и заваленный много лет не вывозимым мусором: тут были обломки кирпичей, битые бутылки, ящики из-под пива, перевитые ржавой проволокой.

– Мадемуазель! – орали снизу. – Идем сюда!!

Стараясь не шуметь, я в несколько приемов перетащила к двери огромный облуленный письменный стол канцелярского вида.

Конечно, это было наивным. Дверь легко вышибалась двумя ударами крепкой негритянской ноги. А учитывая, что по лестнице поднимались несколько пар крепких негритянских ног, все мои приготовления к обороне выглядели смешными.

Надо было прыгать, и все. В эту темень – спиной, животом, коленями на эти ящики, головой об этот мазутный асфальт.

Сухой жар ужаса делал меня совсем невесомой. Не исключено, что если б в тот момент я порхнула из окна, то, зависнув в воздухе, плавно опустилась бы на битые пивные бутылки.

Я опять ринулась к окну. За эти несколько секунд выяснилось, что, не зажигая света, я поступила весьма толково – дети свободной Африки не знали, в каком из номеров я нахожусь. Возбужденно горлая что-то по-французски, они последовательно и довольно легко вышибали двери во всех номерах. И это взвинчивало их все больше и больше, как в игре с открыванием дюжины консервных банок, где лишь в одной запаяна рыбка.

«Мадемуазель!! – несло с противоположного конца коридора. – Идем!! Будет карашо!!»

Мой номер был угловым. Рядом с окном спускалась водосточная труба, но она обрывалась на уровне окна, и даже ржавые скобы от нее, по которым можно было бы спуститься, заканчивались рядом с наружным жестяным подоконником, довольно широким.

Пора было прыгать. Я взобралась на окно, цепляясь за раму, и еще раз глянула вниз. Гулкое жаркое счастье заколотилось в ушах, заглушив вопли разгоряченных негров в коридоре: в умирающем ночниковом свете чудом уцелевшей лампочки единственного фонаря на углу я разглядела под своим окном выступавшие из стены кирпичи. И даже мгновенно прочитала надпись, в которую они складывались: «прораб Адылов».

Никогда в своей жизни я не соображала так быстро. Я поняла, что, ухватившись за ржавую скобу от водосточной трубы и спустившись на эти кирпичики, увековечившие имя славного прораба, я смогу распластаться на стене под широким подоконником, так что из окна обнаружить меня будет почти невозможно.

Присев на корточки, я дотянулась обеими руками до выступавшей из стены скобы, схватилась за нее и выпала из окна. Две-три страшных секунды я висела, шевеля ногами и пытаюсь нащупать кирпичики. Несколько раз нога моя соскальзывала с буквы «п» в слове «прораб», и я, продолжая висеть, стала скovyривать левой ногой сандалию с правой. Наконец мне это удалось, и босой ногой я нащупала кирпичик. Он был узковат (дай Бог здоровья тщеславному прорабу, спасшему мне жизнь и рассудок!) – ногу на этом кирпичике можно было поставить только вдоль стены. На двух таких кирпичиках я и распласталась на стене под подоконником. Вероятно, со стороны я напоминала застывший кадр знаменитой чаплинской походочки.

И тут загрохотала дверь в моем номере. Поняв, что дверь забаррикадирована, вся компания с диким воодушевлением принялась за дело, нечленораздельно горлая что-то по-русски вперемешку с французским. После нескольких слаженных ударов с победными воплями они вломились в номер.

И тогда наступила тишина, в которой до меня доносилось отчетливо слышное тяжелое дыхание нескольких хорошо поработавших мужчин.

– Мадемуазе-е-ель!! – заорали истошно пятеро глоток. – Гдье ты-и-и?!!

Я стояла в какой-то там по счету балетной позиции, правой босой ногой на перекладине буквы «п», левой, обутой в сандалию, – на козырьке буквы «б», абсолютно ног не чуя, дрожащими пальцами цепляясь за шербатую кирпичную стену.

По топоту, по скудному русскому мату, доносящемуся сверху, я поняла, что они меня ищут – под кроватью, в туалете, в шкафу. Потом прямо над моей головой кто-то засопел и крикнул в темноту:

– Мадемуазель!! Ты убьезжал, суким, бильядам!!

Я стояла, зачем-то закрыв глаза, как в детстве, когда кажется – вот зажмурюсь и стану невидимой, и вы меня не найдете...

Господи, хоть бы кто-то из этих киношных придурков забыл в гостинице какую-нибудь дрянь, необходимую для съемок, и вернулся!

И вдруг сверху на меня что-то полилось... Это было настолько неожиданно и неправдоподобно, что несколько секунд, оцепенев, я стояла под теплыми струями, бегущими сквозь щель между стеной и подоконником мне за шиворот, абсолютно не понимая – что происходит.

Потом поняла...

Судя по длительности процесса, это животное выпило за вечер сверхъестественное количество жидкости. В какой-то момент я даже подумала, что это не кончится никогда. А может быть, к нему за компанию присоединились остальные участники конференции... Я старалась не дышать, ощущая себя некой деталью здания, вонючей кариатидой, подпирающей подоконник.

Не помню, сколько времени они куражились в номере: переворачивали мебель, били бутылки и, судя по ритмичному топоту, даже танцевали...

Потом снизу раздался разъяренный причитающий голос тети Маши, и спустя еще минут пять послышались мужские голоса: очевидно, приехал наряд милиции.

Слыша, как мое спасение поднимается по лестнице и приближается по коридору, я вдруг ощутила свои ноги, странным образом уместающиеся на двух кирпичиках. Мне показалось: еще мгновение – и тонкая жилочка в груди, как стальной тросик до этой минуты державшая все тело, лопнет сейчас с тихим звоном, как струна на гитаре, и я ватно свалюсь в черную темень.

– Вот они, гады черножопые!! – закричала Маша. – Где девушка?! Снасильничали?! Убили?!!

Участники конференции, судя по всему, не сопротивлялись милиции. Слышно было только пыхтение и страстное бормотание одного из них:

– Нет – убили! Убили – нет! Мадемуазель, суким, убьезжал...

– Господи, в окошко сиганула?! – ахнула надо мной Маша.

Я сказала шелестящим голосом, стараясь не шевелиться:

– Теть Маша... Я здесь... Снимите меня, пожалуйста...

Дальше все происходило быстро и слаженно. Маша с двумя узбекскими юношами – вероятно, дружинниками – снесли во двор и расстелили подо мной три матраса, на которые я благополучно свалилась окоченевшим кулем.

– Детка, ты что ж такая мокрая! – воскликнула Маша. – Ссали на тебя, что ли?!

До сих пор не перестаю изумляться сообразительности этой простой женщины.

Она повела меня в единственную душевую и минут тридцать сосредоточенно и усердно намыливала с головы до ног мое почти бесчувственное тело.

– Страху-то натерпелась, – приговаривала она. – Это ж какой ужас, а?! Когда русский наш насильничать берется – так это еще туда-сюда, а каково представить черную-то рожу над собой?

Она выдала мне чистый халат, на кармашке которого было красиво вышито «Главный администратор гостиницы “Кадыргач” Софронова М. Н.», и, видно, чувствуя себя все-таки виноватой в событиях этой ночи, проговорила:

– А внучке моей полегчало. Кризис был, температура спала.

– Слава Богу, – сказала я. И заплакала.

На втором этаже по открытым номерам, с повисшими кое-где на одной петле дверьми, бродил внутренний сквознячок. В номере, где жил Стасик, на спинке стула сушилась выстиранная им накануне белая маечка.

В моем номере тетя Маша убрала уже осколки битых бутылок, расставила по местам перевернутую мебель. Дверь в номере оказалась целой, только замок выломан. Я притворила ее и села на стул.

Шел четвертый час. Ночь уже подалась, задышала, задвигались за окном деревья, и послышался ворох и бормотание проснувшихся горлинок.

Скоро должна была вернуться группа с ночных съемок. Но все это уже не имело никакого значения.

Жизнь была кончена. Завершена... Вероятно, подобное знание настигает пилота над океаном, когда он вдруг понимает, что в баке кончилось горючее. Возможно, что-то подобное чувствует больной, узнавший свой роковой диагноз. Да, можно еще съездить в отпуск, кое-что доделать, но все это неважно, ибо – жизнь кончена, завершена, нет горючего...

Я сидела на стуле у окна в седоватом тумане пыльного азиатского рассвета, взгляд мой с утомительной пристальностью изучал осколки битых бутылок на асфальте и дощатые занозистые ящики, перевитые ржавой проволокой.

Пропала жизнь – я знала, что это парализующее ощущение не имеет ничего общего с обычной тоской. Это было знание, окончательное и смиренное: пропала жизнь.

Мне было то ли двадцать семь, то ли двадцать восемь лет, но чудовищную подлинность и завершенность этого чувства я помню и сегодня.

Так я просидела на стуле часа полтора, не шевелясь. В пять ко мне тихо постучали.

Это был известный узбекский актер, одутловатый выпивоха в лаковых туфлях, – он исполнял в нашем фильме роль главаря мафии, коварного и жестокого. Безнадежный алкоголик, он был в высшей степени интеллигентным человеком (под интеллигентностью я понимаю, главным образом, редчайшее врожденное умение – не обременять собою окружающих).

Трижды извинившись за то, что побеспокоил меня так рано, он виновато сообщил, что возвращается на день в Ташкент, и вот подумал, не нужно ли мне домой, он был бы рад подбросить...

– Да-да, – сказала я, – спасибо, очень кстати, едем через минуту.

В халате главного администратора гостиницы «Кадыргач» я спустилась вниз и села в старенький синий «Москвич» известного актера. Лучшего катафалка в последний путь придумать было невозможно.

Всю дорогу мы ехали молча, вероятно, он чувствовал мою несостоятельность как собеседника, что лишний раз подтверждало подлинную интеллигентность этого вечно пьяного, крикливо одетого, безграмотного узбека.

Мы ехали довольно быстро. По краям шоссе бежали хлопковые плантации, иногда проскакивали тоскливые мазанки. Вдали слезились два тающих огонька. Казалось, это желтоглинное пространство вращалось вокруг машины, как гончарный круг.

– Италии был, Швейцарский Альпа был, Венеция видел, Норвегий-Марвегий был... – певуче проговорил известный узбекский актер. – Такой красивый земля, как наш, нигиде нет...

Как я и предполагала, сын ночевал у мамы. Но мне следовало пошевеливаться – в любой момент мать могла нагрянуть за какой-нибудь хозяйственной надобностью.

В ванной в тазу было замочено белье. На поднявшемся из воды островке сидел упавший с потолка таракан.

Я освободила таз, приволокла его в кухню, наполнила горячей водой и поставила на стол. Села на табурет, опустила в таз обе руки – примерилась. Вот так в самый раз: когда я потеряю сознание, то просто туюнусь физиономией в воду.

Потом я вяло принялась искать бритву и никак не могла отыскать. Время шло, надо было скорее с этим кончать. Я взяла нож, конечно же тупой, как и все ножи в этом никчемном доме без мужчины, отыскала точильный брусок и так же вяло принялась точить о него нож.

Я сидела в халате главного администратора гостиницы «Кадыргач», точила на себя, как на кусок говядины, кухонный нож и думала о том, что пошлее этой картины ничего на свете быть не может.

Но я ошибалась.

Зазвонил телефон. От неожиданности я уронила на ногу тяжелый точильный брусок и, поскуливая от боли, заковыляла к аппарату.

Хамоватый тенор украинского еврея произнес скороговоркой:

– Ничео, шо я рановато? Вам должны были передать, так шо я только напомнить: у меня большие яйца.

– ... Что я должна делать по этому поводу? – спросила я.

– У меня самые большие яйца! – обиженно возразил он. – Потому шо они от Замиры. Можете сравнить!

Господи, мысленно взмолилась я, почему Ты заставляешь меня подавать реплики в этом гнусном эстрадном скетче! А вслух проговорила устало:

– Зачем же. Я вам верю. Можете привозить пять десятков...

– Так я живо! – обрадованно выпалил он, и это прозвучало как «щиво»...

...Разумеется, никто и никогда не привез мне яиц. Да и какой болван стал бы звонить человеку в шесть утра! Конечно, это был он – конвойная харя с ухватками вертухая, в ватных штанах, пропахших махоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов.

Мой ангел-хранитель, в очередной раз навесивший мне пенделей при попытке к бегству из зоны, именуемой жизнью.

Я вылила воду из таза и бросила в ящик стола кухонный нож. У меня болела спина и ныла шея, как будто, поколачивая, меня долго волокли за шиворот к моему собственному дивану. И я повалилась на него и проспала мертвецким сном полновесные сутки.

* * *

И вот приехала укладчица – весьма юная особа русалочьего племени со всеми полагающимися таковой причиндалами: длинными русыми волосами, как тяжелые водоросли скользя-

щими по узкой спине, гранеными камешками зеленых глаз и прочей сексуальной мелочишкой вроде торчащих грудок, маленького оттопыренного ушка, за которое закладывалась тяжелая русая прядь, и медленных долгих ног, сладострастно обвивающих друг друга независимо от того, в какой позе укладчица пребывала – стояла, сидела или полулежала в кресле.

Звали ее... ой, я забыла, как ее звали. Хорошо бы – Виолетта: мне кажется, это имя с двумя плывущими гласными в начале и фокстротно притоптывающими «тт» в конце удивительно подходит сей нежной диве.

Если бы заложенный в ней сексуальный заряд обладал, наподобие заряда взрывчатки, разрушительной силой, то, ручаясь, она бы взорвала к чертям не только весь комплекс узбек-фильмовских построек, но и район жилых домов вокруг в радиусе километров этак семи...

Стоит ли упоминать, что в нашу рабочую студию слетались, сбегались, сползались все мужчины всех возрастов со всех этажей и из всех построек «Узбекфильма».

Мне кажется, даже минуя проходную, она успевала крепко отметить своим вниманием старика охранника, так что остаток дня он (да нет, это, конечно, мои фантазии!) ничком полулежал на сдвинутых стульях, не в силах потребовать у входящего пропуск. Проходная в эти дни осталась неприсмотренной, шляйся кто куда хочет.

Когда, усевшись и вытянув во всю их благословенную длину ноги поверх кресла переднего ряда, Виолетта впервые просмотрела отснятый материал, Анжелла, помнится, спросила ее тревожно:

– Ну, что? Дня за три управишься?

Та неопределенно пожала плечами, погладила одной ногой другую.

– Не управишься? – еще тревожней спросила Анжелла.

В ту минуту я подумала, что ее заботит финансовая сторона вопроса. Однако, как показали события ближайших дней, дело было совсем не в том.

Сигарета казалась приставной деталью личика Виолетты, вынимала она ее изо рта только для поцелуя. Дверь маленькой студии, где на рабочем экране во тьме беззвучно крутилось кольцо из нескольких склеенных кадров, распахивалась каждые пять минут. На пороге возникал силуэт очередного мужчины, и, слабо застонав в тихом экстазе узнавания, Виолетта распахивала объятия, в которые вошедший и падал.

Так появился в студии известный столичный актер, к тому времени сыгравший главную роль в нашумевшем фильме знаменитого режиссера. Он вошел, Виолетта, взглядевшись прищуренными зелеными глазами в силуэт, тихо застонала, они расцеловались.

И вот тут, впервые за все эти месяцы, я наконец стала свидетелем того, что принято называть «высоким профессионализмом».

Подсев на ручку кресла к Виолетте и поглаживая ее коленку, известный актер несколько мгновений вяло следил за происходящим на экране. Там крутилась довольно дохлая сцена выяснения отношений на свеженькую тему «отцы и дети». И снята в высшей степени изобретательно: поочередно крупный план – внучек, поигрывающий желваками на высоких скулах половецкого хана; крупный план – сморщенное личико страдающего дедушки. В конце сцены камера наезжает – из правого глаза деда выкатывается скупая актерская слеза.

Кольцо крутилось бесконечной каруселью: лицо внука – лицо деда – скупая слеза; лицо внука – лицо деда – слеза и так далее.

Виолетта, покуривая и сплетая атласные ноги, придумывала подходящий текст под шевеление губ. Помнится, на этом кадре она почему-то застряла.

И вот известный актер, просмотрев гениальный кадр всего один раз, уже на следующем витке, не снимая ладони с яблочно светящейся в темноте коленки, с фантастической точностью уложил некий текст в шевелящиеся на экране губы Маратика.

– Хули ты нарываешься, старый пидор? – негромко, с элегантной ленцой проговорил Маратик всесоюзно известным бархатным голосом. – Я те, ебенть, по ушам-то навешаю...

Эта фраза прозвучала так естественно, так соответствовала характеру самого Маратика, и такой логически безупречной выглядела после нее скупая слеза на обиженном личике деда, что все, без исключения, сидевшие в студии, застыли, осознав сопричастность к большому искусству. А известный актер выдавал все новые и новые варианты озвучания кадра, в которых неизменным оставалось лишь одно – дед с внуком матерились по-черному. И каждый вариант был поистине жемчужиной актерского мастерства, и каждый хотелось записать и увековечить.

Порезвившись так с полчаса, известный актер вышел покурить. Я выскочила следом – выразить восхищение.

– Ну, что вы! – устало улыбнувшись, возразил он. – Это давно известный фокус. Помнится, однажды с Евстигнеевым и Гердтом мы таким вот образом почти целиком озвучили «Гамлета». Вот это было интересно. Кстати, в подобном варианте монолог «Быть или не быть?» несет на себе гораздо более серьезную философскую нагрузку...

...Если не ошибаюсь, в конце концов этот кадр был озвучен следующим текстом:

Дед: – Неужели ты решишься на этот поступок?

Внук: – Дедушка, вспомни свою молодость.

Камера наезжает. Из лукавого армянского глаза бабушки выкатывается густая слеза воспоминаний...

Потом известный актер удалился в обнимку с Виолеттой.

Надо сказать, она по несколько раз на день исчезала куда-то с тем или другим работником искусства. Ненадолго.

– Пойдем, покурим, – предлагала она и минут через двадцать возвращалась – как после курорта – отдохнувшая, посвежевшая...

– Ах, – светло вздыхала она, закуривая. – Какой дивный роман когда-то был у нас с Мишей (Сашей, Фимой, Юрой)...

Казалось, на «Узбекфильм» она приехала, как возвращаются в родные места – встретиться с еще живыми друзьями детства, вспомнить былое времечко, отметить встречу. И отмечала. Своеобразно.

Вдруг возникал в конце коридора какой-нибудь киношный ковбой – ассистент или оператор, режиссер или актер. Они с Виолеттой бросались друг к другу – ах, ох, давно ли, надолго?

– Пойдем, покурим, – предлагала Виолетта...

Вернувшись минут через двадцать, щелкала зажигалкой и произносила мечтательно, одним уголком рта, не занятым сигаретой:

– Ах, какой нежный роман был у нас с Кирюшей лет восемь назад...

Спустя дня три напряженной работы Виолетты над укладкой текста я спросила Фаню Моисеевну:

– Слушайте, а сколько, собственно, годков этому дитяте?

– Ну, как вам сказать... Вот уже лет двадцать я работаю на «Узбекфильме», и... – она задумалась, что-то прикидывая в уме, – все эти годы всех нас укладывает Виолетта.

Весь укладочный период работы над фильмом прошел под знаком оленьих драк за Виолетту. Я не говорю о мелких потасовках между мальчиками-ассистентами, осветителями, гримерами; о странном пятипалом синяке, украсившем в эти дни физиономию главного редактора «Узбекфильма»; о мордобое, учиненном Маратиком двум каким-то вполне почтенным пожилым актерам, приглашенным на съемки фильма о борьбе узбекского народа с басмачами... Да

я и не упомяну всех этих перипетий, потому что все чаще уклонялась от посещений киностудии. Но вот обрывок странного разговора между Анжеллой и Фаней Моисеевной помню:

– А я вам сто раз говорила: три дня – и точка. И ни минутой дольше. Многолетний опыт подсказывает.

– Но, Фаня, у меня такой сплоченный коллектив!

На поверку самым слабым звеном в нашем сплоченном коллективе оказалась парочка старинных друзей. Да, да, многолетняя дружба Стасика и Вячика буквально треснула по швам на глазах у всей съемочной группы. Разумеется, с каждым из них у Виолетты когда-то был «светлый, дивный роман».

Разумеется, и тот и другой успели уже помянуть с ней былое... Разумеется, они уже дважды обновили друг другу физиономии в пьяных драках, но...

– Но при чем тут мой фильм! – горестно восклицала Анжелла. – Творчество, творчество при чем?!

Увы, разрыв отношений у Стасика и Вячика произошел-таки на творческой почве.

– Ты импотент! – кричал оператор художнику. – Всю жизнь носишься с убогой идеей драпирования объектов. Это обнаруживает твое творческое бессилие!

– Я – импотент?! – вскакивал Вячик. – Это ты – импотент! Крупный план – задница героя – выкатывается слеза!!

– Старичок Фрейд на том свете сейчас имеет удовольствие, – заметил вполголоса Толя Абазов, присутствовавший при этой несимпатичной сцене.

– А я ей говорила – три дня и точка! – бубнила за моей спиной Фаня Моисеевна.

Мой взгляд случайно наткнулся на Виолеттины ноги под креслом. Они кейфовали. Скинув горделиво выгнутую туфельку на высоченном каблуке, левая большим пальцем тихо и нежно поглаживала крутой подъем правой...

И напрасно директор фильма Рауф втолковывал Виолетте: «Кабанчик, не бесчинствуй!» – творческий разрыв между оператором и художником все углублялся, отношения их становились все более напряженными. Получая гонорар, из-за которого, собственно, и задержались оба в Ташкенте, они поцапались из-за очереди в кассу, Вячик обозвал Стасика некрасивым словом «говно»... Как и следовало ожидать, оба в конце концов поставили Анжеллу перед сакраментальной ситуацией «я или он», Анжелла выбрала Стасика, и Вячик уехал оскорбленный, напоследок, разумеется, высказав все, что думает об идиотке-режиссерке, кретинке-сценаристке, бесполом мудаке-операторе и бездарных актерах.

– Давай, давай, – со свойственной ей прямоотой отвечала на это Анжелла. – Иди драпируй свою...

Выбегая из студии, он споткнулся о неосторожно вытянутую мою ногу, упал, ушибся и завизжал: «Бездарь, бездарь!»

Меня это почему-то страшно растрогало. Я вообще почти всегда испытываю грустную нежность к прототипам своих будущих героев, особенно к тем, кого почему-то называют «отрицательными», хотя, как известно, отрицательный персонаж в очищенном виде – это редкость в литературе. Я заранее испытываю по отношению к ним нечто похожее на томление вины. Говорят, палачи испытывают некий сантимент по отношению к будущей жертве.

Вот и я, гляжу на оскорбленно визжащего Вячика, на торжествующего Стасика в белой маечке с надписью: «Я устала от мужчин» – и, чуть ли не сладострастно замирая, думаю: милый, милый... а ведь я тебя смастерю. Нет, не «изобразу» – оставим дурному натуралисту это недостойное занятие. Да

и невозможно перенести живого человека на бумагу, он на ней и останется – бумажным, застывшим. Но персонаж можно сделать, создать, смастерить из мусорной мелочишки (подобно тому, как в дни прихода Мессии по одному-единственному шейному позвонку обретут плоть и оживут давно истлевшие люди).

Могу рассказать – как это делается. Из одной-двух внешних черточек лепится фигура (тут главное стекой тщательно соскрести лишнее), и одной-двумя характерными фразочками в нее вдыхается жизнь.

Этот фокус-покус я воспроизвожу уже много лет и, как любой фокусник, конечно же, не открою публике последнего и главного секрета. Но, спрашиваю я вас, при чем тут прототип – живой, реальный, не слишком интересный человек?

Да не было, не было у Стасика никакой белой маечки с надписью: «Я устала от мужчин!» Я ее выдумала. Но в том-то и фокус, что могла же и быть. А теперь уж даже и странно, что ее не было. Фокус-покус, театр кукол, студия кройки и шитья...

А дом мой все строился на моем пустыре. Уже возведены были бетонные стены; по воскресеньям мы с мамой и сыном ходили «смотреть нашу стройку» и, рискуя сломать ноги, бродили в горах строительного мусора, среди обломков застывшего бетона и кусков арматуры.

– Замечательно... – приговаривала мама, взбираясь по лестничному пролету без перил, – вот здесь будет дверь в вашу квартиру... Нет, вот здесь... Дети, не споткнитесь об эту плиту. Нет, здесь будет дверь в туалет... А тут, в прихожей, мы повесим зеркало...

* * *

Озвучивать ленту Анжелла решила на студии Горького.

Ноябрьским слякотным утром небольшой группой мы прилетели в Москву, чтобы завершить последний этап работы над фильмом.

И с этого момента в моей памяти исчезли целые эпизоды, кадры побежали, словно кино-механик вдруг ускорил темп, текст неразличим, лента смялась и вообще застряла в аппарате. Раздражающий перерыв в действии, когда вдруг вспоминаешь, что у тебя полно неотложных дел, а ты сидишь здесь, теряешь время на какую-то чепуху. Минута, две... и ты уже встаешь, не дожидаясь, пока пьяный механик исправит аппарат, и идешь по рядам к выходу, спотыкаясь о чьи-то посторонние ноги...

Мокрый снег, уже на трапе самолета заплевавший физиономию; неожиданная нелепая ссора с Анжеллой в студии звукозаписи – не помню повода, а скорее всего, не было повода, просто время пришло, слишком долго друг друга терпели; несколько раз кряду выкрикнутое ею: «Кто ты такая?! Нет, кто ты такая?!» (кстати, никогда в жизни я еще не смогла внятно ответить на этот вопрос) – и патетическое: «Я плюю на тебя!»; стояла она близко, очень близко, да еще наступала на меня, картинно уперев кулаки в бока, как солистка в опере «Сорочинская ярмарка», и – действительно – заплевывала, брызжа слюной. Так что я позорно бежала – о, всю жизнь – не кулачный боец, как всегда – задний ум, остроумие на лестнице... – выскочила из студии, навалясь боком на гладкие перила, как в детстве, съехала по лестнице в вестибюль с грязноватыми лужицами натекшего с обуви снега.

За мной помчался Толя Абазов, на ходу ловил мои руки, приговаривая: «Голубчик, не надо, ну, не надо! Да плюньте вы, плюньте!...»

Это все очень вписывалось в сцену, но как-то разрушало его образ человека ко всему равнодушного. Хотелось спросить – а почему же вы сценария моего не читали?

Я вырвала руку, выбежала на улицу в мокрый, косой, заплеывающий куртку снег...

И такси, обдающие прохожих веером бурых брызг, и весь нелепо развернувшийся вокруг коробочный район ВДНХ с гостиницей «Космос», где остановилась наша группа, – все это ощущалось как наказание мне, наказание... и я уже догадывалась – за что.

В номере моем трезвонил телефон. Это была, конечно, Анжелла. Ей ничего не стоил переход от оскорблений к лобызаниям, страстным извинениям и признаниям в любви. Абсолютно искренним.

В сущности, в отличие от моего, у нее был легкий характер.

Не снимая куртки, я схватила телефонную трубку, чтобы одной-двумя фразами оборвать навсегда эти никчемные отношения, и...

– Ковахная!! – завопил в трубке голос монаха в миру, последнего графа Томаша. – Как вы смели не телефониловать мне с бохта самолета! Я не *ожидал от вас подобной подлости!*

– Ласло, дорогой, здравствуйте...

– Мы должны встхетиться сейчас же! Я веду вас в мастехскую к *одному* гениальному художнику.

Мне совершенно не хотелось опять выходить в ноябрьскую сумрачную слякоть, трястись в метро. Но мысль, что в любую минуту сюда может явиться Анжелла, хохотать, виснуть на шее и целовать взасос, была еще невыносимей. Надо было смываться отсюда, переночевать у кого-то из знакомых и, поменяв билет, вылететь завтра домой.

Мы договорились с Ласло о встрече на метро «Маяковская» – где-то там, во Дворце пионеров на Миусской площади, обитал совершенно ненужный мне художник.

На встречу Ласло пришел не один, а с девочкой, по виду лет пятнадцати, – высоконькой, плосконькой, с неестественно прямой, как щепочка, спиной и разработанными комковатыми икрами балерины. Она и оказалась балериной Кировского ленинградского театра. Ее детское чистое лицо было полностью свободно от какого-либо выражения; легкая полуулыбка на аккуратных бледных губах имела явно не духовное, а мускульное происхождение.

Леночка.

Последний венгерский граф Томаш, монах в миру, трепетал, как терьер на весенней охоте. Он брал девочку под локоток, время от времени размашисто крестил и благословлял на трудное служение искусству.

На меня он тоже изредка обрушивал короткое, но страшной силы внимание, оглушал – так «моржи» зимой выливают себе на голову ведро ледяной воды. Между делом сообщил, что снял с себя сан монаха в миру и из лоны православной церкви перешел в лоно католической (в его транскрипции слово «лоно» приобретало оттенок чего-то непристойного).

Впрочем, все его внимание было поглощено балериной.

– Я увезу вас в Шахапову *охоту!* – восклицал он. – Пхикую кандалами к станку и заставлю танцевать день и ночь!

Интересно, что на девочку эти страсти не производили должного впечатления, вероятно, потому, что она и так была прикована к станку – нормальной ужасной жизнью балерины.

Я плелась за ними в бурой каше таявшего снега, заводя волынку со своим внутренним «я», пытая его и пытаясь понять: какого черта любому, кому не лень, позволено делать с моим временем и моей жизнью все, что он посчитает забавным и нужным.

В моменты отчаяния я всегда раздваиваюсь и затеваю с собой внутренние диалоги или затягиваю тягучий назидательный монолог, обращенный к никчемному существу во мне, которое в такие минуты даже не оправдывается, а просто плетется в ногу со мной, понуро выслушивая все справедливые

обвинения, которые приходят мне в голову. В психиатрии для обозначения этого состояния существует специальный термин – я его забыла.

Мы пересекли Миусскую площадь, в центре которой чугунно громоздились две группы героев Фадеева: молодогвардейцы перед расстрелом и конный Метелица с пешим Левинзоном. (Фадеев – хороший писатель, утверждала мама, он не был антисемитом.)

Мы поднялись на второй этаж Дворца пионеров мимо раскрашенных диаграмм. Двери «изостудии» были заперты. Я вздохнула с облегчением.

– А вот и он, – воскликнул Ласло в сторону коридора, – дхуг мой, гений и собхат! – И, склонившись ко мне, добавил: – Он был в востохге от вашего сценахия и мечтал хаботать в фильме!

Со стороны туалета к нам приближался человек с жестяной банкой в одной руке и пучком мокрых кистей в другой. Он шел против света – темный силуэт, худощавый человек; интересно, что даже в таком освещении было видно, что одет он в старомодный и неприлично поношенный костюм. Не то чтоб бахрома на рукавах, но... откровенно, откровенно. И вообще, такие силуэты принадлежат не художникам, подумала я, а скромным провинциальным бухгалтерам.

– Бохис, – продолжал Ласло громко в сторону приближающейся фигуры, – я пхивел вам двух ваших будущих моделей. Вы должны пхиковать их к стулу кандалами и писать, писать...

– Здравствуйте, – сказал художник будничным и мягким голосом, в котором слышался сильный акцент уроженца Украины (да, бухгалтер, бухгалтер). Он проговаривал все буквы в приветствии, словно ведомость составлял, но это сразу делало стертое служебное слово смысловым. – Простите, у меня руки мокрые, я кисти мыл.

После красочных словесных гирлянд последнего графа Томаша звук этого голоса и манера говорить производили впечатление ровного бормотания осеннего дождя непосредственно после исполнения парковым оркестром марша «Прощание славянки». Художник отворил дверь студии, и мы из полутемного коридора попали в огромную комнату с рядом высоких окон. Вокруг стояли школьные мольберты и грубые, радужно заляпанные гуашью табуреты.

Я обернулась – художник смотрел на меня в упор. У него была небольшая аккуратная борода, заштрихованная легкой проседью, и аккуратная, циркульно обозначенная лысина, классической греческой линией продолжающая линию лба. Вообще внешность у него была южного, крымско-эгейского замеса. И конечно – какой там бухгалтер! – темнота меня попутала. Он спокойно, подробно разглядывал меня профессионально невозмутимыми глазами. Я не смутилась: так смотрят на женщин художники, фотографы и врачи – те, кто по роду профессии соприкасается с женским телом не только на чувственной почве. В отношениях с женщиной они игнорируют ореол романтичности, обходятся без него, что делает общение с ними – даже с незнакомыми – почти домашним.

– Бохис, помните, я пхосил вас пхочесть мне вслух один гениальный сценахий? – спросил Ласло.

– Да, да, – ответил тот, раскладывая кисти. – Кошмарное произведение. Где советский следователь поет песни? Что-то несусветное...

Физиономия бывшего монаха в миру заиграла всеми оттенками удовольствия. Я почему-то страшно обиделась.

«Вот этот самый отвратный, – подумала я о художнике, – мерзкий, лысый, наглый провинциал!»

Это был мой будущий муж. И я надеюсь, Судьба окажется ко мне столь милосердной, что до конца своих дней, проснувшись и повернув голову, я буду натекаться взглядом на эту лысину. Со всем остальным я смирилась. Например, с тем, что опять я сплю в мастерской, среди расставленных повсюду

холстов, и время от времени ночью на меня падает неоконченный мой портрет, неосторожно задетый во сне рукой или ногой...

Ласло, припрыгивая вокруг балерины, кружась, совершая, не скажу – балетные, но явно танцевальные па, требовал, чтобы «Бохис» немедленно познакомил нас со своими гениальными полотнами.

Художник зашел за свисающий с потолка в конце зала длинный серый занавес и стал выносить оттуда картины – холсты, натянутые на подрамник, картонки. Он отстраненно, как рабочий сцены, таскал картины из-за занавеса и обратно, как будто не имел к ним никакого отношения.

Я ничего не поняла в этих работах. В то время я воспринимала только внятное фигуративное искусство. Веласкес. Рафаэль. Модильяни – с усилием.

А Ласло подсказывал к холстам, шевелил пальцами возле какого-нибудь синего пятна или расплывчато-серого силуэта и отскакивал назад, объясняя Леночке, в чем гениальность именно этого пятна или силуэта. После чего художник спокойно и как-то незаинтересованно утаскивал картину за занавес. Леночка держала полуулыбку, как держат спину в той или иной балетной позиции, и – молчала. Кажется, она так и не произнесла ни слова за все время.

Через полчаса Ласло заявил, что никогда в жизни еще не был счастлив, как сегодня, в кругу своих замечательных друзей. И если б не срочный, через час, отъезд в Ленинград, где в Кировском проходят интенсивные репетиции балета «Король Лир», в котором Леночка танцует Корделию, то ни за что и никогда он не расстался бы с нами. Он увез бы нас в Шарапову Охоту, приковал кандалами одного – к мольберту, другую – к письменному столу и заставил бы «Бохиса» писать и писать портрет «Кинодраматург за работой»...

Затем – целование ручек, размахистые в воздухе кресты, наконец они исчезли.

Художник подхватил в обе руки две последние картонки и понес за занавес.

– Не обижайтесь на Ласло, – слышался оттуда его голос, – он одинокий и сумрачный человек. Экцентрик.

Пиротехник... Все эти шутихи и петарды – от страха перед жизнью...

Он вышел из-за занавеса и сказал:

– У меня сейчас дети, в два тридцать. А потом мы можем пообедать в столовой, тут рядом.

– Да нет, спасибо, – сказала я. – Мне пора идти.

– Напрасно, – сказал он, – столовая обкомовская, цены дешевые...

Стали появляться дети, малыши от пяти до семи лет. Художник облачился в синий халат, все-таки придающий ему нечто бухгалтерское, и стал раскладывать детям краски, разливать воду в банки. Наконец все расселись – рисовать картинку на тему «Мой друг».

Я сидела на приземистом, заляпанном красками табурете, листала какой-то случайный блокнот и зачем-то ждала похода с художником в дешевую столовую. А он переходил от мольберта к мольберту и говорил малопонятные мне вещи. Что-то вроде: «Вот тут, видишь, множество рефлексов. Желтое надо поддержать...» или «Активизируй фон, Костя...». Дети его почему-то понимали...

Один мальчик лет пяти вдруг сказал звонко:

– Это Буратино. Он мой друг, понимаешь? Я его жалею, как друга!

День в высоких бледных, запорошенных снегом окнах стал меркнуть, в зале зажглись лампы дневного света. Надо было уходить, надо было немедленно встать и уйти, но этот провинциальный, с украинским акцентом человек был так внятен, вокруг него расстилалось пространство здравого смысла и нормальной жизни, и я все тянула с уходом; после стольких месяцев барахтанья в пучине бреда мне нравилось сидеть на этом утоптанном островке разумного существования и внутреннего покоя.

Я и топчусь на нем до сих пор, не позволяя волнам бреда захлестнуть мою жизнь...

После занятий мы пошли в обкомовскую столовую. За это время подморозило, сухая крошка снега замела тротуары, легкие снежинки мельтешили перед лицом, ласково поклеывая щеки...

В обкомовскую столовую действительно после трех пускали простых смертных, и мы ели винегрет, действительно дешевый.

Платил – едва ли не в первый и последний раз в нашей жизни – художник; выскребал перед нервной кассиршей медную мелочь из засаленного, обшитого суровыми нитками старушечьего кошелька.

Впоследствии платежные обязанности перешли ко мне, старушечий кошелек я выбросила, да и дешевые столовые как-то ушли из нашей жизни...

Нет, я не сноб, или, как говорила Анжелла, – снобиха. Просто казенные винегреты невкусные...

* * *

На этом, собственно, и завершилась моя киноэпопея.

Я еще присутствовала на каких-то обсуждениях, просмотрах, кланялась в шеренге съемочной группы на премьере фильма в ташкентском Доме кино. Шеренга мной и заканчивалась, если не считать в углу сцены мраморного бюста Ленина, на который – словно бы по замыслу Вячика – живописно ниспадал крупными складками вишневый занавес, придавая бюсту сходство с римским патрицием.

Кстати о римских патрициях.

Я живу на краю Иудейской пустыни; эти мягкие развалы желтовато-замшевых холмов, эта сыпучесть, покатошь, застылость меняет свой цвет и фактуру в зависимости от освещения. В яркий день, в беспощадном, столь болезненном для глаз свете вселенской операционной эти холмы напоминают складки на гипсовой статуе какого-нибудь римского патриция.

Выводя на прогулку своего любимого пса, я гляжу на скульптурно-складчатые холмы Иудейской пустыни и вспоминаю неудачную попытку Вячика задрапировать этот мир. Что ж, думаю я в который раз, то, что не удалось сделать хрупкому, несчастному и не всегда трезвому человеку, вновь и вновь с мистической легкостью воссоздает Великий Декоратор...

Публика хлопала вяло, но доброжелательно. Положение спасала прелестная музыка, которую, как и обещал, написал к нашему фильму Ласло Томаш. Нежную нервную мелодию напевал девичий голосок, и мальчишеские губы влюбленно подсвистывали ему.

После премьеры меня разыскал в фойе Дома кино знакомый поэт-сценарист.

– Ну, вот видишь, – сказал он, – все уладилось. На черта была тебе твоя девственность? Забудь об этой истории, как о страшном сне, и въезжай в новую квартиру... По идее, ты должна была бы мне банку поставить, – добавил он. – Но я как настоящий мужчина сам приглашаю тебя обмыть этот кошмар. Получил вчера гонорар за мультяшку «Али-баба и сорок разбойников»...

Все-таки он был трогательным человеком, этот мой знакомый!

Мелькнуло среди публики и слегка растерянное лицо Саши – прототипа, героя, следователя и барда... Он не подошел ко мне. Может, с обидой вспоминал, как ради всей этой бодяги оформлял очной ставкой мои экскурсии в тюремную камеру.

Я даже помирилась с Анжеллой – она, повиснув на мне, прокричала в ухо что-то задорное, я – ну что возьмешь с этого ребенка – пробормотала нечто примирительное.

Вместе, как это было уже не раз, мы получили – поровну – последний гонорар в кассе киностудии. Я была холодно-покорна, как князь, данник Золотой Орды.

Все это было уже по другую сторону жизни. Мы сдали в кооператив нашу квартиру, в дверь которой успели врезать замок, и уехали с сыном жить в Москву. Мама очень горевала, а отец воспринял это с некоторым даже удовлетворением. Возможно, мой переезд в столицу представлялся ему стратегическим шагом в верном направлении (если опять-таки конечной целью считать почетное-захоронение-всем-назло-моего-праха на Новодевичьем).

Пускаясь в то или иное предприятие, я всегда предчувствую, как посмотрят на дело там, наверху, по моему ведомству: потреплют снисходительно по загривку или, как говаривала моя бабушка, «вломят по самые помидоры»... Не должна была я жить в этом доме, не должна!

Все говорило об этом, надо лишь чуть прислушиваться к своим ощущениям в безрадостных прогулках по чужим пустырям... Не должна была я жить в этом чужом доме, не должна была снимать этот чужой фильм. И наверняка – не должна была писать эту повесть по заманчивым извивам чужой судьбы...

Перед отъездом в Москву я зашла к Анжелле – забрать кое-какие свои журналы и книги. Мы поговорили минут десять. Анжелла была непривычно натянута и стеснена, впрочем, как и я, – сказывалась натужность нашего примирения.

Я, с облегчением попрощавшись, уже направилась в прихожую, но тут резко зазвонил звонок входной двери – настырным будильничьим звоном.

В прихожую, застревая в дверях, пытались прорваться трое. Им это не удавалось, потому что группа представляла собой двух молодых людей, нагруженных чьим-то бесчувственным телом. Вглядевшись, я узнала вусмерть пьяного Мирзу. Голова его со свалывшимися седыми космами каталась по груди, как полуотрубленная.

Молодые люди – по-видимому, аспиранты, – подхватив профессора под руки и полуобняв за спину, деловито переговаривались, как грузчики, вносящие в дом пианино.

– Развернись, – говорил один другому, сопя от напряжения, – втаскивай его боком...

– На-поили-и! – крикнула Анжелла жалобно куда-то в комнаты. – Маратик, его опять напоили на банкете!

Из комнат выбежал Маратик, в трусах «Аидас», с выражением заостренной ненависти на перекошенном лице степняка.

Он каким-то приемом крутанул отца, встряхнул его, как куклу, и поволок в глубь квартиры. Оттуда послышались звуки тяжелых шмякающих ударов, тоненькие стоны и всхлипы.

Молодые люди, тоже не слишком трезвые, смущенно переглянулись.

Я скользнула между ними и, минуя лифт, бросилась вниз по лестнице – навсегда из этого дома.

* * *

Почему я вспомнила сейчас, как аспиранты, натужно сопя, вносили в дом бесчувственного профессора? Потому что мне привезли стиральную машину и крошечный жилистый грузчик-араб, обвязавшись ремнями, поднимает ее на спине на четвертый этаж.

Он приветлив, он подмигивает мне и, поправляя ремень на плече, время от времени повторяет оживленно и доброжелательно:

– Израиль – блядь! – неизвестно, какой смысл вкладывая в это замечание: одобрительный или осудительный. – Израиль – блядь! – весело повторяет он. Очевидно, его научили этому коллеги, «русские», – не исключено, что и аспиранты, – в последнее время пополнившие ряды грузчиков.

Я полагаю, что человек за все должен ответить. Он должен еще и еще раз прокрутить ленту своей жизни, в иные кадры вглядываясь особенно пристально, – как правило, камера наезжает, и они подаются крупным планом.

Я с трудом читаю заголовки ивритских газет, и моя собственная дочь стесняется меня перед одноклассниками. Это мне предъявлен к оплате вексель под названием «сифилисска песен». Я так и вижу ухмыляющуюся плешистую харю: «Давай, давай, голубушка, – говорит он, мой конвойный, – ну-ка, еще раз: «си-си-лисска песен...» – это широким ковшом отливаются мне тоска и страх мальчика в розовой атласной рубашке.

И некуда деться – я обязана сполна уплатить по ведомости, спущенной мне сверху, даже если невдомек мне – за что плачу. Кстати, я так и бытовые счета оплачиваю – не выясняя у компаний, за что это мне столько насчитано.

Похоже, мой ангел-хранитель так и не приучил меня понимать смысл копеечки...

Изредка нам позванивает наш старый друг, Лася, Ласло Томаш. Он по-прежнему страшно одинок, все ищет истинного Бога и грозит приехать на Святую землю.

На днях и вправду позвонил и сообщил, что приезжает на какой-то христианский конгресс по приглашению англиканской церкви в Иерусалиме. Пылко просил меня выяснить точные условия прохождения обряда гиюра.

– Чего?! – крикнула я в трубку, думая, что ослышалась. Я всегда волнуюсь и плохо слышу, когда мне звонят из России.

– Пехейти в иудаизм! – повторил Ласло. – Я никогда не говолил вам, что моя покойная мама была евхейкой?

– Ласло, – проговорила я с облегчением, – тогда вам не нужно проходить гиюр, можете смело считать себя евреем, но, – добавила я осторожно и терпеливо, – не следует думать, что для двухнедельной поездки в Иерусалим вы обязаны перейти в иудаизм. В принципе здесь не убивают людей и другой веры. К нам ежегодно приезжают паломники, и христиане, и буддисты.

– Пхи чем тут буддисты?! – завопил он.

Я помолчала и зачем-то ответила виновато:

– Ну... буддизм – тоже симпатичная религия...

* * *

Склон Масличной горы, неровно заросший Гефсиманским садом, напоминает мне издали свалявшийся бок овцы. Того овна, что вместо отрока Исаака был принесен Авраамом в жертву – тут, неподалеку. Все малопрстойные события, которым человечество обязано зарождением нравственности, происходили тут неподалеку.

И в это надо вникнуть за оставшееся время.

Я смотрю из огромного моего полукруглого окна вниз, на двойную черную ленту шоссе, бегущего в Иерусалим, на голые белые дома

арабской деревни – коробочки ульев, расставленные как попало небрежным пасечником.

Я смотрю на огромную оцепенелую округу, в которой живет и пульсирует в холмах лишь дорога петлями – гигантский кишечник во вскрытой брюшной полости Иудейской пустыни.

Еще час-полтора, и потечет по горам розово-голубой кисель сумерек, затечет в вади, сгустится, застынет студнем...

Камера наезжает: в голых кустах у магазина шевелится вздуваемый ветром полиэтиленовый мешочек. Вот он покатился, взлетел, рванул вверх, понесся над склоном нашей горы ровно и бесшумно, как дельтаплан, вдруг взмыл и стал подниматься все выше, выше, полоскаясь в небе, словно бумажный змей на невидимой нитке.

– Смотри, мотэк, – говорит рыжий Цвика, хозяин лавки, – я в своей жизни пошлялся по разным америкам-франциям... по этим... как их? – швейцарским альпам... Поверь, красивей, чем наша с тобой земля, нет на свете!..

Пятый год я размышляю о своей эмиграции. Я лишь на днях обнаружила, что думаю о ней скрупулезно и настойчиво. С обстоятельностью лавочника взвешиваю прибыль и торопливо списываю убытки, подсчитываю промахи, казню себя за недалёковидность.

Словом, день и ночь я зачем-то обдумываю свою эмиграцию, как будто мне только предстоит решиться или не решиться на этот шаг.

Забавно, что единственную в своей жизни окончательность, единственную бесповоротную завершенность я как бы и не желаю заметить. Это похоже на старый еврейский анекдот про «умер-шмумер, лишь бы был здоров!».

Ну, я и здорова. Тем более что до Новодевичьего отсюда – приличное расстояние.

«Ты начальничек... винтик-чайничек... отпусти до до-ому...»

А какие здесь пейзажи! Боже, какие пейзажи: на эти живые, грозно ползущие по холмам «жемчужные тени армад небесных» можно любоваться часами. А если принять стакан, то немудрено и вовсе застыть у окна, столбенея от счастья, что нередко со мной здесь происходит – ведь мне еще нет сорока, говорю я себе, и жизнь бесконечна!..

...бесконечна, черт бы ее побрал.

Во вратах твоих

Посвящается БОРЕ

Сказал Эсав Амалеку: «Сколько раз я пытался убить Якова, но не был дан он в мою руку. Теперь ты направь мысль свою, чтобы осуществить мою месть!» Ответил Амалек: «Как смогу я одолеть его!» Сказал Эсав: «Расскажу я тебе о законах их, и когда увидишь, что пренебрегают они ими, тогда нападай».

Мидраш

Останавливались ноги наши во вратах твоих, Иерусалим...

Псалом

В некоторых африканских племенах верх бесстыдства считается хождение с бюстгальтером...

Текст, не прошедший редактуры

Редактором в фирму «Тим'ак» меня пристроил поэт Гриша Сапожников, славный парень лет пятидесяти, уютно сочетавший в себе православное пьянство с ортодоксальным иудаизмом. (Впрочем, в Иерусалиме я встречала и более диковинные сочетания, тем паче что иудаизм пьянства не исключает, а, напротив, включает в систему общеврейских радостей, у нас, помилуйте, и праздники есть, в которые сам Господь велел напиваться до соплей...)

А Гришка, Гриша Сапожников, носил еще одно имя – Цви бен Нахум; это здесь случается со многими. Многие по приезде начинают раскапывать посконно-иудейские свои корни. Хотя есть и такие, кто предпочитает доживать под незамысловатой российской фамилией Рабинович.

А вот Гриша, повторяю, как-то ухитрился соединить в себе московское прошлое с крутым хасидизмом – возможно, при помощи беспробудного пьянства.

Он работал в одном из издательств, выпускающих книги по иудаизму на русском языке.

Из-за феноменальной его грамотности Гришу в издательстве терпели. Например, строгий тихий рав Бернштейн, чей стол в тесной комнатенке стоял впритык к Гришиному, вынужден был терпеть запах перегара, налитые преувеличенной печалью Гришины глаза и, главное, – его драную майку. Дело в том, что по известной причине Грише всегда было жарко.

Как ни зайдешь к нему в издательство – он сидит себе в майке, отдувается, а на стене над ним висит на гвоздике малый талит. (Я объясняю для тех, кто не знает: это нечто вроде длинного полотенца с отверстием для головы посередине, с концов которого свисают длинные нити – цицит.)

– Погоди, я оденусь, – обычно говорил Гриша, снимая с гвоздика талит и, как лошадь в хомут, продевая в отверстие голову. При этом его пухлые плечи с кустиками волос оставались на виду. Меня-то, как человека циничного, обнаженные Гришины плечи смутить не могли, а вот раву Бернштейну явно становилось не по себе, тем более что, беседуя, Гриша то и дело обтирал подолом талита потную шею движением буфетчика, обтирающего шею подолом фартука.

– Запиши телефон, – сказал Гриша, отдуваясь и обтирая шею, – там нужен редактор, это издательская хевра. Спросишь Яшу Христианского.

– Какого? – уточнила я преданно.

Он достал из стола бутылку водки, налил в бумажный стаканчик и выпил.

– Да нет, это фамилия – Христианский, – крикнув, пояснил Гриша. – Кстати, он пишет роман «Топчан», так что боже тебя упаси проговориться, что в Союзе у тебя выходили книги и вообще что ты чего-то стоишь. Ты ничего не стоишь. Ты – просто дамочка. Старательная дамочка, набитая соломой. Понятно?

– Понятно, – сказала я. – Спасибо, Гриша.

– Рано благодарить. Он тебе устроит нечто вроде проверки. Сцепи зубы и стерпи. Его все знают за жуткую...

Рав Бернштейн кашлянул, и Гриша, запнувшись, закончил:

– Одним словом, оглядишься.

Когда рав Бернштейн вышел из комнатки, Гриша обтер шею подолом талита и сказал:

– Тут и так жарко, а они еще окна загерметизировали.

Окна были исполосованы клейкой лентой вдоль и поперек. Как у меня дома.

– Гриш, война будет? – спросила я.

Цви бен Нахум налил водки в бумажный стакан, глотнул и сказал:

– А хер ее знает...

Накануне войны улицей темной и тесной пробиралась я в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

(Позже, при свете дня, улица оказалась самой обыкновенной, не широкой, но и не узкой, автобусы ходили в обе стороны. Что это было тогда – эта сдавленность восприятия, этот спазм воображения, это сжатие сердечной мышцы – в ожидании войны, дня за три, кажется?)

Объясняли, что справа должен тянуться зеленый забор, потом какая-то стройка, повернуть налево и войти во двор.

Кой черт забор, да еще зеленый – поди разберись в этой тьме! – я поминутно спотыкалась об арматуру, торчащую из земли, и поэтому поняла, что забор кончился и началась стройка...

До сих пор в слове «война» заключался для меня Великий Отечественный смысл – школьная программа, наложенная на биографии родителей и расстрелянных родственников. Но поскольку Отечество накренилось, сдвинулось и, отразившись пьяной рожей в тысяче осколков разбитого этой же рожей зеркала, полетело в тартарары, неясно стало – как быть со старыми смыслами и чего ждать незащищенной коже и слизистой глаз, носа, рта. (Противогазы нам уже выдали. Борис составил их аккуратно на антресолях хозяйского шкафа.)

Итак, накануне войны улицей темной и тесной, как тяжкий путь к свету из материнской утробы (она и называлась соответственно – «Рахель имену», что в переводе на русский означает «Рахель – наша мама»), я пробиралась в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

Когда-то, до Шестидневной войны, во дворце размещалось посольство то ли Эфиопии, то ли Зимбабве, а после начала войны эта самая то ли Нигерия, то ли Тунис разорвали дипотношения с нами (с нами? с этими, здесь, ну, с Израилем), и посольство в полном составе драпануло из дворца, оставив фонтан и пальму – на редкость крупный, можно сказать, кинематографический экземпляр, высоченная прямая пальма с мощным волосатым стволом, а вот породу не скажу, не знаю, в нашей стороне (в нашей? в тамошней, в российской) такого не росло...

В полнейшей уличной тьме здание мавританской архитектуры было тепло освещено изнутри ярким желтым светом, и этот свет падал на большие жесткие листья пальмы, на фонтан, подсвечивая их, словно театральную декорацию.

Я поднялась по внешней, легким полукругом взбегающей на второй этаж лестнице, миновала террасу, толкнула дверь и вошла в очень просторный, почти незаставленный холл. Через стеклянные двери аудиторий видны были юношеские головы в цветных вязаных кипах. Я пошла в боковой коридор, столкнулась с каким-то парнишкой, спросила на плохом своем иврите, где тут читает лекцию рав Карел Маркс, – тот указал на дверь, я постучала и вошла. В этот вечер разбирали тему первой битвы Израиля с Амалеком. Он оказался пылким изящ-

ным чехом, этот рав Маркс, – жесты имел округлые, певучие, то и дело вонзая указательный палец куда-то над головой, в потолок.

– Не народ против народа, – с мягким нажимом произносил он и смуглые сильные кисти рук разбрасывал при этом в стороны, как пианист в противоположные концы клавиатуры, расставлял боевыми шатрами друг против друга. – Но Бог против народа! – И плавной дугой указательным пальцем – вверх, в потолок.

Талантливым проповедником был рав Карел Маркс. На иврите говорил достаточно хорошо, хоть и с заметным акцентом. Например, гортанное, на связках «рейш», мягко всхлипывающее у сабр, у него рокотало где-то в носоглотке.

В перерыве все вышли на террасу – там на столике стояли электрический самовар, одноразовые стаканчики, кофе, печенье на тарелке.

– А здесь культурно, – сказал кто-то за моей спиной, – и чисто. Они, по-видимому, к консервативной синагоге принадлежат...

– А я в ортодоксальную иешиву ходил, – ответил на это другой, – так я в жизни столько мяса не ел, сколько там дают. Даже компот с мясом...

Домой возвращалась в автобусе со старостой группы Гедалией – приятным пожилым человеком с лицом симпатичной козы, – кажется, он работал где-то в университетской библиотеке.

Когда миновали район Мошава Германит и автобус въехал на Яффо, ярко освещенную центральную улицу с там и сям бегающими огоньками рекламы над магазинами, стало веселей на душе. И поскольку говорили-то все о том же, Гедалия вдруг неуверенно улыбнулся в слабую бороду и сказал:

– Не думаю, чтобы бомбили Иерусалим. Здесь все-таки мусульманские святыни.

Я возразила:

– Знаете, как-то перспектива бомбежки Тель-Авива тоже мало радует.

– Конечно, конечно, – он смутился. – И потом, у нас тут горы, а газ, как вам, наверное, известно, стекает и стелется понизу.

– Да, мне известно, – сказала я...

...Первые недели эмиграции показались тяжелой болезнью – брюшным тифом, холерой, с жаром, бредом, да не дома, на своей постели, а в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда. Между тем деятельно занимались делами: отстаивали в нужных очередях к нужным чиновникам, получали пособия, сняли квартиру в хорошем районе – правда, религиозном, да шут с ним, какая разница, даже любопытно... Вот только воду приходилось кипятить в кастрюльке. Наш новый эмалированный чайник сгинул в чудовищной пучине шереметьевской таможни.

Соседи слева подарили нам холодильник, который был, вероятно, старше, чем Страна. Он никогда не отключался, поэтому скалывать лед, выползавший из морозильной камеры, можно было только ледорубом.

Соседка справа в первый же вечер занесла мне халат и израильский флаг. Флаг был стиранным, халат – тоже. Сын настаивал, чтобы флаг был немедленно вывешен на нашем балконе.

Едва мы заволокли чемоданы в пустую квартиру и вдохнули запах только-только высохшей побелки, зазвонил телефон.

– Семейство Розенталь? – спросили гортанно в трубке.

– Нет, – ответила я по-русски и, спохватившись, исправилась: – Ло.

В трубке еще что-то спрашивали, я торопливо перебила заученной фразой:

– Простите, я не говорю на иврите... – и повесила трубку.

В тот же день съездили на мебельный склад и привезли оттуда полную машину рухляди: несколько колченогих стульев, две тахты, диван с чужой ножкой, длиннее остальных трех, раскладушку – и огромный обшарпанный канцелярский стол, в котором недоставало трех ящи-

ков. В верхнем ящике этого стола я обнаружила записку на русском: «Не забудь полить цветок»... (Поезд все мчался, мчался – куда? зачем? что будет со всеми нами? Дети каждый день выпрашивали три шекеля и, ошалевшие от здешних супермаркетов, бегали за жвачками.)

Мы же почти перестали говорить друг с другом, оба умолкли, даже не жались один к другому, как перед отъездом из России, когда тревожно было расстаться на час... Я подозревала, что и Борис болеет этой неназываемой болезнью...

В первую ночь мне приснился сон о иерусалимских банях. Я мылась там вместе с «черными». И как в прежних своих тягостных снах о метро, я была, конечно, абсолютно голая, просто до неприличия. Хасиды сурово отводили от меня глаза и яростно намыливали на себе лапсердаки и шляпы. Колебались пейсы, которые светская публика называет «блосиными качелями».

Я проснулась и спросила Бориса:

– В Иерусалиме есть бани?

Он подумал, сказал:

– Наверное... В каких-нибудь отелях... Вообще, бани – это не еврейская забава.

– Почему? – спросила я.

– Видишь ли, возможно, мы всегда предчувствовали тот жар, спаливший половину нации, ту страшную парную...

(Бешеный поезд все мчался, мелькали какие-то пейзажи за окнами – средиземноморские, дивные, картинные – как, вы не были еще на Мертвом море? – вот где потрясающе красиво... Температурный бред тифозного больного: где я? где я? пить... «Это называется у нас хамсином, – приветливо объясняли мне, – нужно пить как можно больше».)

В первую субботу зашли к нам доброжелательно улыбающиеся соседи, подарили Борису талит и пригласили в синагогу. Вернувшись после трехчасовой молитвы, он повалился на тахту с поломанной ножкой и сказал: для того, чтоб быть евреем, нужно иметь здоровье буйвола, боюсь, мне уже не потянуть...

...Наконец сумасшедший поезд сбавил скорость, и можно было уже различить что-то за окнами его: искусно сделанные парики, похожие на натуральные прически, и густые выющиеся пейсы, похожие на букли парика; в белой хламиде шел по тротуару царственно прекрасный эфиоп, такой величественно статный, такой слишком настоящий, что даже казался актером, удачно загримированным для роли Отелло; то два хасида, шествующих по Меа Шеарим, напоминали Стасова и Немировича-Данченко, или вдруг ухо выхватывало из радиопередачи: «... выступал хор Главного раввината Армии обороны Израиля...»

...Дом, на последнем этаже которого мы сняли небольшую квартиру, стоял на одном из высоких холмов Рамота, одного из самых высоких районов Иерусалима. С балкона последнего, четвертого этажа такой расстелился вид на город – хоть экскурсии сюда води. По левую руку – гора Скопус вдаль с башней университета, по правую – башня знаменитого отеля «Хилтон». Вдали синела кромка Иорданских гор... Ну и так далее...

Дом стоял на холме, выступая углом, – наш балкон, если смотреть снизу, с зеленого косого холма, напоминал кафедру. Словом, некая возвышенность присутствовала.

Кстати о возвышенности. Мне кажется, что наличие некоего возвышения не скажу – обусловливает, но располагает к поискам в собственной душе не скажу – вершин, но возвышенностей, да. Так что я вижу прямую зависимость религиозного состояния общества от рельефа местности. Вероятно, с вершин уместнее звать к Богу.

(Что касается меня, то я всегда знала, что Бог есть. Я говорю не об ощущениях, а о знании. Это при абсолютно атеистическом воспитании в совершенно атеистической среде. То есть в полном отсутствии Бога. Моя младшая сестра в детстве перед экзаменом по музыке молилась на портрет польского композитора Фредерика Шопена, который висел у нас в комнате.

Однажды я подслушала эту молитву. «Шопочка! – жарко шептала моя девятилетняя сестра. – Милый Шопочка, сделай так, чтоб я не ошиблась в пассаже!..» Так что я сразу отмечаю все обсуждения этой темы.)

По субботам из соседних квартир доносилось широкое утробное пение. Мелодия напоминала нечто среднее между «Шумел камыш» и «Из-за острова на стрежень». Пели здоровыми кабацкими голосами, в которых чувствовалась полнота жизни.

По проезжей части улицы по двое, по трое неторопливо шли мужчины в синагогу. Белые, с продольными черными полосами талиты спадали с плеч, как плащи испанских грандов.

Графически это было так красиво, что первые несколько недель я поднималась в субботу пораньше, чтоб из окна наблюдать диковинную для меня, такую обычную здесь картину: евреи в талитах шли по улице в соседнюю синагогу...

...Когда вернулась способность видеть и слышать, поезд замедлил ход, пополз, остановился – и обморочно вялые, как после тифа, мы сползли со ступенек на эту землю...

Издательская фирма «Тим'ак», куда послал меня Гриша, арендовала помещение у известной газеты «Ближневосточный курьер». Само здание «Курьера» – серое, приземистое, длинное – напоминало нечто среднее между тюрьмой усиленного режима и курятником. «Тим'ак» арендовал на втором этаже небольшой зал, перегороденный самым идиотским способом на множество маленьких кабинок. Войдя в зал, посетитель попадал как бы в лабиринт и принимался блуждать по кабинкам, хитроумно переходящим одна в другую. И поскольку перегородки были высотой в человеческий рост, то по плывущему над ними головному убору можно было определить с немалой степенью вероятности, кто из заказчиков явился.

– Ну-с, что бы такое вкусненькое вам дать поредактировать?.. – ласково-небрежно спросил Яша, роясь в бумагах на столе. Христианский оказался ортодоксальным иудеем, рыжим, томным, с орлиным носом, внушительной фигурой, схваченной португесей (какие носят сотрудники сил безопасности – с кобурой под мышкой), и чрезвычайно инфантильной привычкой пятилетнего бутуза оттягивать большими пальцами ремни португесей, как помочи. – А, вот хоть это...

Я взяла протянутый им листок с напечатанным на нем следующим машинописным текстом: «...риация. Неотъемлемым правом каждого гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Если вы желаете быть похороненным рядом с супругом(ой), следует заблаговременно заявить об этом не позднее чем за тридцать дней до похорон...» Далее до конца страницы перечислялись погребальные льготы, положенные каждому гражданину Израиля.

– А... что это? – спросила я несколько обескураженно.

– Какая разница? – улыбнулся Яша. Добрые складочки разбежались вокруг его рыжих глаз. – Неважно! Не за то боролись! Редактируйте, редактируйте...

– Нет, постойте, может, это юмор...

– Ну какой же юмор! – укоризненно возразил он. – Это брошюра министерства абсорбции о правах репатриантов. Выбирайте кабинку по душе. Вот тут работает у нас Катька, там – Рита... Чувствуйте себя комфортно...

Он вышел, а я села в свободную кабинку, достала из сумки ручку и положила перед собой лист.

Первым делом я вычеркнула высокопарное слово «неотъемлемым». Потом вставила слово «покойного» перед словом «гражданина», чтобы у очумевших репатриантов не возникло впечатления, что немедленно по прибытии в аэропорт Бен-Гурион следует воспользоваться правом быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Получилось вот что: «Правом каждого покойного гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов». Я содрогнулась и вычеркнула. Написала мелкими буквами сверху: «Правом каждого гражданина Израиля является право в свое время быть...» и так далее. Пере-

читала и ужаснулась. Решительно вычеркнула все. Вздохнула глубоко и написала: «Если вы умерли, ваше право...» Тьфу!.. Я вспотела... Вычеркнула... Посидела с минуту, написала: «Каждый гражданин Израиля, умерев в положенный срок, имеет право...» О господи, а если не в положенный? Я вычеркнула все жирно и написала на полях маленькими аккуратными буквами:

«Когда вы умрете, вас похоронят за счет государства в течение 24 часов...»

Сидела, тупо уставившись на эту обнадеживающую фразу, и слушала стрекотание компьютеров в соседних кабинках.

Собственно, я прекрасно понимала, что со мною происходит. Нормальный стресс, повторяла я себе, такое часто бывает с людьми первое время в эмиграции. Например, Сашка Колманович, наш сосед, классный программист, в Союзе работавший над созданием искусственного интеллекта четвертого поколения, недавно проходил тест в какой-то частной фирме по производству компьютерных программ. И последним заданием была просьба нарисовать женщину, обыкновенную женщину. Очумевший от пятичасового теста Сашка нарисовал два треугольника, конус и корень квадратный из какого-то сумасшедшего числа... А это оказался примитивный тест на здоровую сексуальность. Вот и все. Так что после этого рисунка Сашка проходил еще пять дополнительных тестов.

– Рита, Рит... – послышалось из кабинки справа... – Слышь, вчера из России Синайка вернулся...

Слева, продолжая стрекотать на компьютере, медленно спросили:

– Это кто... Синайка?

– Да сосед наш, – воскликнули нетерпеливо справа, – профессор лингвистики, помнишь, я рассказывала – Синай Элиягу Аушвиц. Старенький, основатель кибуцов. Мы его дома Синайкой зовем...

– Ну?

– Вернулся в полном балдеже... «Коммунизм, – говорит, – коммунизм! Кмо кибуц гадоль! Свет – бесплатно, телефон – бесплатно. Коммунизм!» Особенно от Ленинграда в восторге. Пришел к «Авроре», а там на набережной бродячий оркестрик играет, Синайка спрашивает: «Гимн можете сыграть?» Лабухи говорят, мол, будут доллары – будет гимн. Он им бросил в кепку два доллара, они заиграли «Союз нерушимый республик свободных». Он от восторга чуть не спятил. «А можно, – спрашивает, – я дирижировать буду?» Лабухи великодушные, разрешили... Представляешь картинку, Рит?

Слева прекратили стрекотать, помолчали и проговорили задумчиво:

– В этом есть своеобразный сюр: в Ленинграде, на фоне «Авроры», под управлением старого израильского профессора бродячий оркестрик играет гимн подыхающей империи...

Мне так понравились сразу эти двое, этот московский, такой знакомый ироничный говорок людей моего круга. Очень захотелось остаться здесь работать. Хоть за три копейки. Хоть за тысячу шекелей, только бы «со своими».

Я вычеркнула все, что написала прежде, хмыкнула и, понимая, что все равно все пропало, застрочила: «Не приведи Господи, конечно, но если вы помрете – не волнуйтесь. Таки вас похоронят, и довольно быстро – дольше двадцати четырех часов не позволят валяться в таком виде на Святой земле. Вашим родным не придется тратиться – государство Израиль обслужит вас по первому разряду: катафалк, кадиш, то-се – словом, не обидят, вы останетесь довольны. Если же вы так привязаны к своей супруге(гу), что желаете и после смерти лежать с нею рядом, вам следует заблаговременно придушить ее, не позднее чем за 30 дней до своих похорон».

Тут над барьером кабинки справа появилась голова, как мне показалось, пятнадцатилетнего мальчика. Круглые черные глаза с оценивающим любопытством оглядели меня.

– Здравсьте, – сказали мне. – Вы к нам редактором пробуетесь?

Я молча махнула рукой.

- А, понятно, похороны редактировать дал?
- Кать... Ты поосторожней, – послышалось слева. – Он появится сейчас.
- Да у них сейчас минха, – отмахнулась та, что оказалась Катькой. Имя ей очень шло.
- Он всем про похороны дает? – спросила я.
- Ага, – отозвалась она.
- А зачем? – спросила я. – Ведь с этим текстом ничего невозможно сделать.
- Да он его сам придумал, – объяснила Катька охотно и просто. – Развлекается...

Тотчас рядом с Катькиной головой возникла другая – коротко стриженная курчавая голова борца с удивительно хладнокровным выражением глаз. Обычно такое выражение глаз бывает у людей с хорошо развитым чувством юмора. Я догадалась, что это вторая сотрудница, Рита.

- Хотите совет? – спросила она. – Вы умеете лицемерить?
- Конечно! – воскликнула я.
- Так вот... – Она говорила медленно, словно вдумываясь в какое-то дополнительное значение слов. – Сейчас Христианский выведет вас гулять...
- В каком смысле?
- По улицам... – невозмутимо уточнила она. – И станет рассказывать про свой роман...
- С женщиной? – спросила я.
- Он будет рассказывать о своем романе «Топчан», – пояснила Рита. – Так вот... Хвалите.
- Помилуйте, как же я могу хвалить, если не читала?
- Ну, бросьте, – Рита поморщилась, словно я брякнула несусветную глупость. – А еще хвастаетесь, что умеете лицемерить. Скажите, что замысел гениален, что сюжетные повороты неслыханно новые; и главное – обязательно просите, умоляйте дать почитать. Просто хватайте за рукава и ползайте на коленях.

Хлопнула дверь, и над барьерами кабинок поплыла черная кipa Христианского. Он оживленно посвистывал. Тут же Катьку и Риту сдуло по кабинкам, застрекотали компьютеры.

– Ну, как ваши дела? – спросил Яша приветливо, заглядывая ко мне. – Знаете что, бросьте вы это. Не за то боролись. Здесь такая духота, а на улице благодать, теплынь. Не хотите ли пройтись минут десять? Заодно и поговорим...

Я надела куртку, мы вышли и вдоль забора какой-то стройки, мимо ряда цветочных магазинчиков и кондитерских пошли ходить туда и обратно по тротуару. Я шла рядом с неумолкающим Христианским и не переставала удивляться точности Ритиногo сценария. Правда, начал Яша почему-то не с художественной прозы своей, а с журнала, который он сам писал и сам же издавал, назывался журнал «Дерзновение».

(Вообще почти сразу по приезде в Страну я обратила внимание на то, что многие газеты и журналы носят здесь такие вот, с печатью тяжелого национального темперамента, названия: «Устремление», например, «Прозрение», «Напряжение», «Вознесение» – нет, пожалуй, последнее название не из той, как говорится, оперы.)

Так вот, сначала Яша пересказывал мне свою статью из свежего номера журнала «Дерзновение», в которой он исследовал и сравнивал исторический взгляд на эпоху правления царя Персии Кира: с одной стороны Иосифа Флавия и с другой стороны – комментатора ТАНАХа – Раши.

– Вот, посудите сами, – журчал надо мной Яшин голос, – Флавий пишет, что от начала царствования Кира до воцарения Антиоха Эвпатора, сына Антиоха Эпифана, прошло 414 лет. Поскольку Эпифан умер на 149-м году правления династии Селевкидов, на долю Персидской империи остается 414 минус 149 плюс – посчитайте, посчитайте! – плюс 18 лет, итого – 247 лет, что, по существу, то же самое, ибо любой год, завершающий упомянутые промежутки времени, может оказаться неполным. Но не за то боролись! Итак, примем для простоты 246...

Что это, думала я, кивая головой и изображая вдумчивое внимание, он действительно полагает, что я подсчитываю в уме годы правления династии Селевкидов, или в благоговейный трепет вгоняет? А может, он только три эти абзаца с цифрами насчет Селевкидов и выучил и всех претендентов на должность редактора уводит гулять и тут пугает до смерти?

Но нет, – Яша сыпал и сыпал династиями, цифрами, именами из ТАНАХа и Флавия...

– Кстати, имя персидского сановника самарийского происхождения, посланного Дарием, последним царем Персии, в Самарию, представляется мне подозрительно знакомым. Так и есть! Через всю «Книгу Нехемии» проходит самаритянин Санбаллат, изо всех сил мешающий евреям восстанавливать Иерусалим...

...Я смотрела искоса на далекие покатые холмы Иудеи, словно бы накрытые шкурой какого-то гигантского животного, выдавшие и Санбаллата, и Нехемию, и многих других, в том числе и вот прогуливающихся меня и Яшу, смотрела и думала, что день потерян безвозвратно.

Потом мы зашли в кондитерскую, и Христианский угостил меня пирожным. К этому времени он уже перешел от исторического журнала к своему роману «Топчан», и я, по Ритиному совету, вставляла – не скажу восхищенные, к этому моменту я порядком притомилась, – но поощрительные реплики вроде «очень интересный ход», «прекрасно найдено». Христианский по виду совсем не устал, а, наоборот, вдохновлялся все больше и больше, излагал гибкие свои концепции, хитроумные ходы в сюжете. Талантливо говорил. Говорил очень талантливо, то есть, по всем признакам и в соответствии с моим житейским опытом, вряд ли мог оказаться талантливым писателем...

Когда мы возвращались в здание «Ближневосточного курьера», я не выдержала и спросила устало:

– А вам действительно нужен редактор?

Яша удивился, восторженно, стал говорить о грандиозных планах фирмы «Тим'ак», об огромном количестве заказов, о том, как трудно найти единомышленников, преданных людей...

...Трижды еще я ходила в «Ближневосточный курьер», на второй этаж. Мариновал меня Христианский. Выводил гулять и там долго, витиевато и красочно говорил – и о чем только не говорил! Редактировать он мне больше ничего не давал, о листке с похоронными льготами для граждан Страны словно бы забыл. Я не понимала – чего он хочет от меня, на какой предмет экзаменует? Наконец, когда после четвертого такого променада мы подходили к серому промышленно-угрюмому зданию «Курьера» и я уже дала себе слово, что больше не приду выслушивать Яшины рефераты, на пятой, кажется, ступеньке он обернулся и сказал:

– Ну что ж, давайте попробуем поработать. Больше двух тысяч в месяц я дать вам не могу, и учтите – работы будет много, и весьма разнообразной.

После упомянутой им помесечной суммы я слотнула и заставила себя помолчать (это был период, когда за десять шекелей в час я иногда мыла виллы богатых израильтян).

– Надеюсь, проезд на работу вы оплачиваете? – наконец спросила я строго.

– Ну разумеется, – обронил он небрежно. – В конце месяца сдадите проездной секретарше, Наоми... Правда, по моим расчетам, послезавтра американцы начнут войну, в связи с чем режим работы у нас несколько изменится...

* * *

Название нашей фирмы – «Тим'ак» – было аббревиатурой ивритских слов, означающих «Спасение заблудших».

Мы спасали заблудших ежедневно с десяти и до шести, кроме пятницы и субботы. По четвергам спасение заблудших приобретало размах грандиозных спасательных работ: в этот день сдавался очередной номер газеты «Привет, суббота!», которая являлась главным заказом,

выполняемым нашей фирмой. Дня через три-четыре я огляделась и постепенно, не без помощи Катьки и Риты, стала ориентироваться в происходящем.

Хевра «Тим'ак» финансировалась канадским миллионером Бромбардтом, но существовала под покровительством Всемирного еврейского конгресса, того самого, что представляет в мире интересы евреев. Когда-то годах в тридцатых-сороковых он был реальной силой, но со времени основания государства Израиль, которое с тех пор само недурно представляло интересы евреев, знаменитый конгресс некоторым образом потускнел, впрочем, деньжищами, по словам Риты, ворочал немалыми и пригревал огромное количество всевозможных дочерних и внучатых организаций, ответвлений от этих организаций и просто приблудных компаний вроде нашей хевры...

Сначала я путалась в хозяевах, не понимая, например, зачем канадскому миллионеру нужна в Израиле издательская фирма, выпускающая книги на русском языке. Но когда выяснилось, что Бромбардт и сам является членом Всемирного еврейского конгресса, я представила, как несчастному, ни ухом ни рылом не сведущему в деле русскоязычного книжного бизнеса в Израиле миллионеру выкручивают руки акулы-конгрессмены, заставляя купить акции нашей фирмы, и как он отбивается и лягается, но не может отбиться, ибо связан с этими акулами общим великим делом защиты евреев...

В первые же дни, проходя по длинному и вечно темному, как бомбоубежище, коридору «Курьера», Христианский остановил меня и, покровительственно приобняв за плечо, сказал:

– Показать вам человека, одна минута которого стоит сумасшедших долларов?

За стеклянной перегородкой в соседней комнате сидела небольшая, абсолютно израильская по виду компания – джентльмены в расстегнутых рубашках с закатанными рукавами и мятых брюках, подпиравших круглые животы.

– Которого вы имеете в виду? – спросила я.

– А вон того, что похож на рыжую свинью.

Добрая половина компании была похожа на рыжих свиней. Но один из них был просто альбиносом.

Я взглянула на Христианского – по лицу его струилось непередаваемое выражение ласковой, восхищенной ненависти.

...Время от времени в нашем зале возникала и плыла над барьерами кабинок белая шевелюра Бромбардта, потом появлялась его сонная физиономия, с которой всегда хотелось смахнуть, как пыль, белые брови и ресницы, физиономия с вечной спичкой, зажатой в зубах.

Когда Христианский кивком указывал ему на всегда расстегнутую пуговицу, он восклицал меланхолично «Sorry» и хватался за рубашку или ширинку.

Так вот, акции фирмы принадлежали поровну Бромбардту и Всемирному еврейскому конгрессу. Поэтому члены конгресса входили в совет директоров фирмы «Тим'ак». А главою совета директоров являлся сам Иегошуа Апис, он же Гоша, знаменитый бывший отказник – фигура туманная, влиятельная и, как многие намекали, – небезопасная. Заседал совет директоров не реже чем раз в месяц.

– А сколько служащих в фирме «Тим'ак»? – спросила я Риту в первый день.

– Трое, – сказала она, подумав. – Я, ты и Катька.

– А Христианский?

– Он член совета директоров, – ответила Рита, как обычно вслушиваясь в дополнительный смысл слов. – И главный редактор.

Мне эта ее манера говорить напоминала повадки классного студийного фотографа, который, прежде чем щелкнуть, долго «ставит кадр», возится с лампами, поминутно отскакивая к камере, снова подбегает к модели, чтобы чуть-чуть повернуть подбородок влево, наконец, окинув взыскательным взглядом художника всю картину, «делает кадр».

С Ритой случилось в Израиле вот что: на второй день после приезда она увидела в автобусе старого сефардского еврея, подробно ковыряющего в носу. Это зрелище вызвало у нее сильнейший культурный шок. Из памяти ее мгновенно выветрились свинцовые чиновники ОВИРа, остервенелое хамство московских голодных толп, пьяная баба, колотившая ее кулаком по спине на станции метро «Филевский парк», – все провалилось в волосатую ноздрю старого сефарда. С тех пор израильтяне были для нее – «они». Понимаешь, у них совсем, совсем другая ментальность, говорила Рита.

Катка же, та, которую вначале я приняла за подростка, оказалась личностью дикой и трогательной. Катку пожирал огонь социальной справедливости. Он горел в ее круглых черных глазах, и отблеск этого огня лежал на всех обстоятельствах Каткиной биографии. Она постоянно с кем-то или с чем-то воевала. Вообще Катка была убеждена, что прежде всего каждому нужно бить морду. А если вдруг человек хорошим окажется – потом, в случае чего, и извиниться можно.

Катка была урожденной и убежденной москвичкой, савеловской девочкой, которую в Израиль приволок муж, поэтому рефреном всех Каткиных разговоров было: «Идиотская страна!»

– Идиотская страна! – возбужденно начинала Катка, едва появившись в дверях и бросив сумку на свой стол, и далее мы с Ритой и Христианским выслушивали очередную историю молниеносного сражения Катки с кем-то или чем-то по пути на работу.

Когда не попадалось под руку никого из посторонних, Катка воевала с мамой, двумя своими детьми – Ленкой и Надькой – и со своим мужем, высококлассным системным программистом, в домашнем обиходе носившим кличку «Шнеерсон».

При всем том Катка была человеком еще невиданной мною, какой-то глубинной, первозданной доброты. Можно сказать, все ее существо поминутно пронизывалось грозowymi разрядами положительных и отрицательных импульсов. Охотно могу себе представить, как, подравшись в автобусе и до крови расквасив обидчику физиономию, Катка, растрогавшись от вида чужого несчастья, рвет на полоски лучшую свою юбку, чтобы перевязать пострадавшего.

Словом, что тут долго рассусоливать! – Катка обладала давно описанным, отстоявшимся в веках и очищенным литературой русским национальным характером, живописно оттененным ярко выраженной еврейской внешностью. Неизбежная мутация в условиях галута, заметила как-то Рита.

Кроме того, Катка была фантастически одаренным человеком. «Просто у меня детская память на языки», – небрежно поясняла она. Французский знала, как родной, через месяц после приезда в Страну уже свободно говорила и читала на иврите и, наконец, имела кандидатскую степень в одной из сложных областей то ли статистики, то ли кибернетики.

– Понимаешь, Яшка Христианский – страшное говно! – в первый день сообщила мне Катка.

Я растерялась. Мы сидели втроем в буфете, маленькой комнатке, приткнувшейся в тупике одного из длинных темных коридоров «Курьера». Пять столиков стояли тесно, чуть ли не впрытик один к другому. Так что вокруг нас сидело и жевало несколько сотрудников «Курьера».

– Кать, не так громогласно, – заметила Рита.

Катка отмахнулась:

– Ерунда, эти чурки по-русски не понимают. Кстати, надо бы учебник английского посмотреть...

Она перегнулась через свою тарелку с отбивной и, глядя мне в глаза, продолжала:

– Ты ощутишь это на собственной шкуре в ближайшее время.

– Но... мне показалось, что он очень образованный человек, – неуверенно возразила я.

– Он очень умный! – немедленно отозвалась Катька, разрезая отбивную. – Очень умный! – Она вздохнула и добавила: – Лялю жалко. Хорошая у него жена, Ляля. Мудрая баба...

Весь этот первый день Христианский толочся у моей кабинки, мешая работать и без умолку демонстрируя россыпи самых глубоких знаний во всех областях жизни. Например, долго и утомительно подробно объяснял, как действует Алмазная биржа, время от времени отлучаясь к своему кейсу, который мудрая его жена Ляля с утра забивала фруктами, и через минуту появляясь с бананом, яблоком или хурмой в руке. Ей-богу, он был мне симпатичен!

В этот день я редактировала книжонку для детей, довольно незатейливо пересказывающую историю победы Гидеона над мидианитянами и амалекитянами. «И тогда произошло громкое трубление в военные трубы воинов, и прокричали воины – «Меч Господа и Гидеона!».

Я заглянула в конец рукописи, обнаружила, что автор текста – рав Иегошуа Апис, и вздохнула: член совета директоров фирмы «Тим'ак» Гоша заколачивал копейку. Заканчивалась брошюрка главой под названием: «Перспектива: когда исчезнет Амалек?»

...Вечером, придя домой и поужинав, я сняла с полки книгу Судей и нашла эпизод с Гидеоном.

«...А Мидианитяне, и Амалэикитяне, и все сыны востока расположились в долине, многочисленные, как саранча: и верблюдам их нет числа, как песку на берегу моря...»

Я закрыла книгу и зашла в маленькую комнату с заклеенным окном – эту комнатку мы предназначили для укрытия на предстоящую войну, в которую все-таки мало кто верил.

Моя четырехлетняя дочь сидела на диване и с увлечением терзала противогаз.

– Кто разрешил тебе взять противогаз?! – заорала я.

– Папа, – сосредоточенно ответила она, не поднимая головы.

...Ночью, часа в три, заверещал телефон. Я вскочила, сорвала трубку. Звонил брат моего мужа.

– Ты только не волнуйся, – сказал он ночным нехорошим голосом. – Я ловил сейчас «голоса»... в общем, американцы метелят Ирак... Так что – война.

– Меч Господа и Гидеона! – сказала я тихо, перетаптываясь босыми ногами на холодных плитах пола.

– Что? – спросил он.

– Ничего, – сказала я.

* * *

Утром на пути к автобусной остановке меня прихватил Левин папа, когда, потеряв бдительность, на ходу я пыталась укоротить ремни на картонной коробке с противогазом. Как человек, соблюдающий по мелочам социальную дисциплину, я послушно захватила противогаз на работу.

В этом смысле сама себе я всегда напоминаю солдата, у которого и пуговицы пришиты и надраены, и сапоги начищены, – безупречного солдата, который обязательно дезертирует как раз в тот момент, когда его жизнь понадобится царю-батюшке, королю-императору, родному вождю или там Третьему Интернационалу... С детства зная за собой некоторую «швейковатость» по отношению к обществу, я всегда стараюсь усыпить бдительность этого общества соблюдением мелкой социальной дисциплины. Так что я послушно захватила противогаз на работу. Ремень коробки продела через плечо, как старый русский солдат – ружье, и коробка, свисая чуть ли не до колен, била меня по ногам. Тут на меня и наскочил Левин папа.

Этот бравый старикан шляется по израильским «Суперсалям» и «Гиперколям» с дырчатой советской авоськой за рубль сорок и, слышав русскую речь, заступает людям дорогу и рокошующим баритоном, с отеческой улыбкой отставного генерала спрашивает:

– Из России?

Обманутые его ухоженным добротным видом, этой покровительственной улыбкой, люди, конечно, замедляют шаг и подтверждают – из России, мол, из России, откуда ж еще... Тут Левин папа, совсем уж приобретая ласково-строгий вид отставного генерала, экзаменующего зеленого лейтенантика, спрашивает, пронзительно всматриваясь в собеседников из-под кустистых бровей:

– Леву Рубинчика знаете?

Это он произносит тоном, каким обычно спрашивают: «В каком полку служили?» И даже неважно, знают или не знают встречные Леву Рубинчика, – старикан взмахивает болтающейся авоськой, ударяет себя ладонью в грудь и торжественно объявляет:

– Я его папа!..

В первый раз я купилась на отеческую улыбку чокнутого старикана и даже честно пыталась припомнить Леву Рубинчика. Но уже второй раз, выслушав весь набор, с криком – извините, тороплюсь! – я потрусила прочь от Левиного папы. В дальнейшем, завидя его импозантную фигуру с дырчатой авоськой в руках, я немедленно переходила на противоположный тротуар. А тут замешкалась, возясь с ремнем от коробки.

– Из России? – раздался надо мной волнующий баритон.

– Извините, тороплюсь! – воскликнула я, бросаясь в сторону.

– Леву Рубинчика знаете? – неслось мне вдогонку ласково и властно. – Я его папа!..

Уже из окна автобуса я увидела, что он поймал какую-то молодую пару. Взмахнул рукой с авоськой, ударил себя ладонью в грудь, и – автобус повернул на другую улицу...

Ехать надо было до центральной автобусной станции, пересечь ее пешком и двориками, переулочками и помойками выйти на длинную, промышленной кишкой изогнувшуюся улицу, в одном из тупиков которой и стояло здание «Ближневосточного курьера».

На центральной автобусной станции я присмотрела себе нищего.

Еврейские нищие очень строги. Я их побаиваюсь и никогда не подаю меньше шекеля, а то заругают. Мой нищий был похож на оперного тенора, выжидающего последние такты оркестрового вступления перед арией и уже набравшего воздуха в расправленную грудь. Высокий, с благородной белой бородой, в черной шляпе и черном лапсердаке, он протягивал твердую, как саперная лопатка, ладонь, и, казалось, сейчас вступит тенором: «Вот мельница, она уж развалилась...»

Я подавала шекель в его ладонь, он говорил важно, с необыкновенным достоинством:

– Бриют ва ошер – здоровья и счастья...

В фирме царило почти праздничное оживление. Рита, Катька, несколько сотрудников газеты «Привет, суббота!», двое толстых заказчиков из Меа Шеарим, беременная секретарша Наоми – молодая женщина с карикатурно-габсбургской нижней губой, – слушали лекцию Христианского на военную тему.

Сладостно улыбаясь и оттягивая большими пальцами ремни портупеи, пританцовывая и кивая орлиным носом по сторонам, переходя с русского на иврит и опять на русский, Яша утверждал, что нас будут бомбить. И сегодня же ночью. При этом он сыпал военными терминами, с уточнением калибра орудий в миллиметрах, названиями газов, с уточнением их химического состава и прочими научно-военными данными, которых черт-те где понабрался.

Увидев меня с противогазом через грудь, он взорвался таким искренним, таким лучезарным весельем, что даже прослезился, хохоча.

– Ой, что это?! – повизгивал он, вытирая слезы. – Что это вот за коробочка?! Ох, ну какая же вы милая, вы просто прелесть, дайте ручку, – и, перегнувшись через стол, картинно приложился к моей ручке, что ни в какие ворота не лезло, если взглянуть на дело с точки зрения Галахи. Но Христианский вообще-то и сам ни в какие ворота не лез, он и ортодоксом

был необычным, и даже фамилию имел в этой ситуации абсолютно невозможную, вероятно, поэтому и журнал «Дерзновение» издавал под псевдонимом Авраам Авину¹...

После сцены лобызания ручки мы разошлись по кабинкам – «Надо же и работать, война, не война», – сказал Яша, достал из кейса банан, свесил с него лоскуты кожуры на четыре стороны и отхватил сразу половину. Затем, примерно часа два, он мешал всем работать, продолжая лекцию на военные темы, время от времени останавливая сам себя ликующим возгласом: «Но не за то боролись!»

Отвлек его только появившийся Фима Пушман, секретарь Иегошуа Аписа, осуществлявший, как днем раньше объяснила мне Рита, челночную связь между мозговым центром фирмы, то есть Гошей, и ее рабочим корпусом, то есть нами тремя. Мозговой центр помещался в захлавленной двухкомнатной квартирке, которую снимал Всемирный еврейский конгресс, где-то на улице Бен-Иегуда.

Фима Пушман, веснушчатый верзила, еврейский раздолбай лет сорока, вечно спадающих штанах, вечный чей-то секретарь, отъявленный неуч и бездельник, член, конечно же, Еврейского конгресса, то есть, грубо говоря, конгрессмен, – Фима Пушман когда-то в России был замечательным фотографом. На этом поприще он обнаружил такой талант, что, говорят, уговаривал живых людей фотографироваться на их будущие могильные памятники.

Говорил он тягучим поблеивающим тенором, растягивая слова, но не так, как Рита, а словно бы, начав фразу, не представлял, к чему он это затеял и как теперь быть с этой фразой вообще...

Рита уверяла, что у Фимы мыслительный аппарат не связан с остальными функциями организма.

Парадокс заключался в том, что, в сущности, Фима Пушман был очень пунктуальным человеком. Например, он всегда приходил на встречу минута в минуту, только не на то место, где уговаривались встретиться. Рассылая бандероли с журналами «Дерзновение», он надписывал их изумительным каллиграфическим почерком, но часто путал местами адреса отправителя и получателя, вследствие чего мы получали наши же журналы наложенным платежом да еще расписывались в получении.

Он педантично оплачивал в банке счета фирмы, но на обратном пути забывал где-то сумку с квитанциями, бумажником, рукописями и всеми чеками для выплаты жалованья сотрудникам фирмы на сумму в несколько десятков тысяч шекелей.

Словом, можно уверенно сказать, что, уволив Фиму Пушмана, Всемирный еврейский конгресс и лично Иегошуа Апис значительно сократили бы свои убытки.

Яша презирал Фиму Пушмана и страшно унижал, как унижал он всех, кто не мог ему ответить. Фима Яшу ненавидел и на каждое ядовитое замечание того огрызался просто и тупо, как двоечник с последней парты. Бывало, Фима, как простой курьер, раз пять на день появлялся у нас, подтягивая штаны и затеявая попутно нечленораздельные беседы, – это Яша заставлял его носить на Бен-Иегуду и обратно какие-нибудь ничтожные бумажки. А ведь Фима не подчинялся ему ни в коей мере, Фима был членом Еврейского конгресса и собственностью Иегошуа Аписа. Да, он был собственностью Гоши, ибо тот вывез его из России на гребне какого-то международного скандала (Гоша, благодетель, многих вывез; в те годы он был духовным воротилой крупных отказнических банд) – привез и пристроил его в конгресс, так что Фима и сыт оказался, и при деле...

Так вот, явился Фима Пушман с рукописью от Иегошуа Аписа, с пачкой печенья и банкой хорошего кофе, которые и вручил «девушкам», нам то есть, очень галантно. Вообще, по словам Риты, бабы Фиму любили. За что его любить, энергично отозвалась на это Катька, за бороденку фасона «жопа в кустах»? Бороденку и впрямь Фима отрастил бедную, мясистые щеки

¹ Авраам Авину – отец наш Авраам (*иврит*).

просвечивали сквозь чахлую шкиперскую поросль, а если еще добавить, что выражение лица у Фимы во всех случаях оставалось лирическим, то придется согласиться, что с точки зрения литературного образа Каткино определение хоть и грубоватое было, но довольно меткое.

– А я сейчас одного знакомого встретил, из Москвы, – начал Фима, усаживаясь рядом с Ритой и подперев толстую щеку рукой. После этих слов он задумался, видно прикидывая, что дальше-то по этому поводу сказать и стоит ли вообще продолжать говорить... Потом решил, что – стоит, и добавил: – Он там был самым главным в метро...

– Лазарем Кагановичем? – невозмутимо спросила Рита, не повернув головы от дисплея.

– Нет, зачем... Его зовут Володей...

Возник Христианский с толстенной рукописью в руках и сказал мне:

– Вот. Этот роман вы должны вылизать до последней буковки, сделать из него «Войну и мир».

– А что это? – спросила я.

– Бред сивой кобылы и очень увлекательный, просто детектив. Риточка, – позвал он, – вы не находите, что Мара очень увлекательно врет?

– Да, – помолчав, отозвалась Рита, – но темна, как шаман в Якутии.

– А кто такая Мара? – спросила я.

Из Ритиной кабинки вышел удивленный Фима Пушман – поглядеть на меня.

– Вы что – не слышали о Маре Друк? Это известная отказница.

Тут Яша, приревновав Фиму к биографии Мары, сам начал рассказывать историю чудесного избавления семейства Мары Друк на личном вертолете миллионера Буммера, то и дело вставляя свое «но не за то боролась», хотя можно предположить, что десять лет сидевшая в отказе Мара боролась именно за то.

Впрочем, биография Мары занимала его недолго, и вскоре охотничий интерес его переключился на вечную, тупо покорную дичь – Фиму Пушмана, стоявшего рядом.

– А скажите-ка, Пушман, конгрессмен вы мой, – поигрывая пальцами по ремням портупеи (так пианист бегло пробует клавиатуру), начал Яша. – Правда ли, что в городе Горьком особенным успехом у населения пользовались ваши праздничные снимки покойника в гробу?

– Они не были покойниками! – встрепенулся Фима.

– Я и говорю: живой человек выглядит в гробу привлекательней, чемдохлый, это вы неплохо придумали. И хорошо шел клиент?

– Я профессионал! – с вызовом ответил Фима, уже подозревающий, что Христианский взялся за свое. – Клиенты моей работой были довольны.

– Конечно! – в упоении заорал Христианский, закатывая глаза. – Я ни в коем случае не умаляю вашего профессионализма! Просто мне интересно, платил-то кто: родственники усопшего или сам покойный?

– Платил покойник, – скромно подтвердил Фима, но вдруг, осознав все коварство Яши, отчаянно воскликнул: – Но он был живой!

На какое-то мгновение этот запредельный бред показался мне диалогом из пьески авангардного драматурга.

Вдруг в своей кабинке дико захохотала Катка. Будучи от природы гораздо сообразительней, чем я, она поняла все быстрее: талантливый фотограф Фима Пушман сумел поставить на твердые рельсы обычай рабочих масс города Горького фотографироваться всей семьей с дорогим усопшим в гробу. И многих потенциальных усопших он уговаривал сняться заранее в кругу семьи, пока смерть не исказила дорогие черты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.